

ISSN 0131—6656

**Бюрократы  
и общество.  
Размышления  
экономиста**

**Рассказ  
Вячеслава  
Кондратьева**

**Поединок  
с мафией.  
Фotoочерк**

**Владимир  
Лакшин.  
Булгаков —  
легенда и быль**

**15**  
**ISSUE**

**«МОСКОВСКОЕ  
КОРОЛЕВСТВО»**



## Наталия ЧАПЛИНА

Есть забавное развлечение — игра в ассоциации. Водящий произносит слово, остальные отгадывают, по ассоциации с каким оно выбрано, восстанавливают пару. Горькая? Правда! Счастливое? Детство! Злой? Гений! Настроившись на волну партнера, отгадываешь почти безошибочно, ибо головы наши забыты стереотипами.

Стандартный набор штампов, добровольно затверженный на пионерских сборах, уроках истории и занятиях кружка «Наш Ленинский комсомол», был и у меня к четырнадцати годам. Набор одинаковых, хоть и разноцветных, кубиков, из которых легко конструировать здание нашей истории. «Район» — 20-е годы. «Даешь Магнитку!» — 30-е. И так далее — до героических 70-х с нефтяниками Тюмени, что умываются первой нефтью из фонтана: лозунги, десяток имен, дюжина расхожих фактов...

Таким малознающим, но самоуверенным подростком отец впервые привез меня в Москву. Там в небольшой квартире в Скорняжном переулке, я впервые поняла, что здание из гладких кубиков легко рушится, а в истории в дело идут и тяжелые глыбы, и битый кирпич, и щепки-обломки, чтобы сцепиться, слиться, устоять. В Скорняжном переулке пожила женщина, сухонькая, легкая — моя двоюродная бабушка Мария Павловна Чаплина — разложила на кухонном столе фотографии, книги, старые письма и листки с записями — все, что уцелело после обысков и войн из истории семьи.

— Эх, если бы ты видела, какие они были красивые, Коля и Сережа! Вот, смотри, — Мария Павловна кинула на лежащие рядом фотографии двух самых любимых своих, погибших рано братьев.

Это были портреты конца двадцатых, где они — молодые. Удачливые, много успевшие. Счастливые мужья. Отцы маленьких ребятишек. Николай Чаплин — генеральный секретарь ЦК комсомола — в обычном по тем временам френче. Крупный, мощнолобый, глыбистый. Младший (мой родной дед) — потоньше, полегче, но такой же крупный лоб, так же зачесаны назад густые темные волосы — чекист.

Я думаю, Чаплиным было радостно встречаться в ту пору. Жизнь — впереди, работы — море. Интересно, о чем они говорили? О будущем? А может, просто пели. Они любили петь. И вспоминали, наверное, отца, сельского священника, от которого достались им сочные голоса; мать — учительницу; заходальные приходы Смоленской епархии, по которым начальство гоняло отца за строптивый нрав, независимость, не совместимую с самон тягой к книгам.

Николаю не пришлось доучиться в смоленском реальном училище, куда в 1912-м десятилетним пареньком определил его отец. К 1918 году революция, борьба за Советскую власть, комсомольская жизнь так захлестнули, что до выпускных экзаменов не дотянули. Однако по тем бурным временам образование у него было неплохое. В семнадцать лет считался он в Смоленске хорошим лектором и агитатором.

На Потемкинской семье поселилось после революции, когда Павел Павлович сбросил рясу и работал в политуправлении Западного фронта, а Вера Ивановна и Маша вступили в союз учителей-интернационалистов и перестраивали школу на новый, советский лад. Младшие братья — Сережа и Витя — учились в школе и с восторгом внимали пламенным речам Ни-

колая, точно так же, как сам он когда-то, примостившись в углу комнаты, слушал старшего брата, гимназиста Александра, нелегально организованного кружок, где изучали философские работы Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина, издавали собственные газету и журнал. С гордостью тогда пожимал Коля руки товарищам брата и убегал по их поручениям.

В 1916 году Александра, уже студента Московского университета, арестовали, сослали под надзор полиции. В Смоленске он вернулся только в 1918 году — с мандатом, подписанным наркомом просвещения. И встретил его уже не мальчишка, а вполне зрелый революционный боец.

Николай сначала взбудоражил свое училище, потом, когда реалисты объединили в единую с женской гимназией школу, создал там ячейку учащихся коммунистов. После I съезда РКСМ он вступил в комсомол, чуть позже — в партию. И к 1920 году был уже председателем Смоленского уездно-городского комитета комсомола.

Братья работали в Смоленске рядом, а значит, наверняка спорили, потому что Николай никогда не соглашался с самым авторитетным мнением, пока не убеждался в его правильности. Самостоятельный, независимый ум — тоже признак интеллигентности. Он всей душой воспринял речь Владимира Ильича Ленина на III съезде РКСМ, куда приехал делегатом от Тюменской комсомолии. (В Тюмень его направил ЦК заведующим отделом просвещения, а чуть позже комсомольцы избрали его секретарем губкома.) Воспринял, поверил и всегда отстаивал ленинские идеи о том, что молодежь должна тянуться к знаниям, становиться бровень с величайшими достижениями культуры.

В середине 20-х годов, уже работая секретарем Цекома, именно он, Николай, боролся за то, чтобы не просто профессию, но и широкие знания, культуру выносили деревенские и городские ребята из школ крестьянской молодежи, из ФЗУ. В этом его поддерживали Крупская и Луначарский.

Что было в комсомоле? После гражданской войны Союз рос, несмотря на то, что немало молодых бойцов погибло на фронтах. И вдруг начался массовый выход из комсомола. Для многих ребят главным стало найти работу, получить профессию, хоть как-то устроить свою жизнь, иказалось, что политический союз молодежи уже не нужен. К тому же в самом комсомоле, как и в партии, начались распри. Дискуссии раздирали Союз от заводских ячеек до Бюро ЦК. Комсомолу необходимо было начать работать по-иному, в соответствии с условиями мирного времени, все больше учитывая житейские проблемы ребят.

Вчитываясь в документы той эпохи, вдруг замечашь их созвучие дню нынешнему. Та же крайняя необходимость в переменах, в отказе от устаревшего подхода к работе с молодежью. Вот строки из выступления Николая Чаплина шестидесятилетней давности. «В комсомоле 70 национальностей... Традиции, обычай — все необходимо учитывать... Нам нужна общая коммунистическая культура при всяком поощрении национальной культуры». Разве несвежично звучит? Или вот это: «Гвоздь политического воспитания масс состоит в том, чтобы каждый комсомолец говорил на своем собрании то, что он думает, чтобы спорил против того, против чего он возражает...»

На партийных и комсомольских съездах, в каждодневной работе Николай Чаплин отстаивал несколько самых существенных для юношеского движения идей: комсомол — организация, борющаяся за права молодежи, заботящаяся о ней; организация политическая, «школа воинствующего большевизма». Это сочетание «воинствующий большеви-

зизм» звучит теперь, наверное, несколько архаично, но ничего леваческого в таком лозунге не было. Воинствующий большевизм Николай понимал как осмысливший труд, стремление к новому, борьба за это новое и постоянное сознание себя, жизни, справедливого общества.

Удивительно, что на майском (1988 г.) пленуме ЦК ВЛКСМ, который обсуждал работу комсомола в школах, вузах, ПТУ, очень часто вспоминали именно VIII съезд комсомола — вершину комсомольской биографии Чаплина. Оказалось, что проблемы, определенные им и его товарищами в далеком 28-м году, и по сей день современы и, увы, пока не решены.

Друг Николая Александр Мильчаков рассказывал, как в 1925 году в разгар дискуссии с зиновьевцами Чаплин принял участие в Туле и отправился на самоварную фабрику, где, как считали райкомовцы, в ячейке «орудовали троцки-

ред, без багажа и колебаний. Работать.

Ему двадцать шесть. На VIII съезде он простился с комсомолом. До начала занятий на курсах марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) — целое лето, а Николаю давно хотелось побывать в других странах. И тогда вместе с друзьями, такими же «ветеранами», он определился на торговое судно и помощником кочегара отбыл в Европу. В огромном гамбургском порту так же, как сейчас, темнели стены портовых зданий, мелкие суденышки сновали по акватории, шумел на набережной рыбный рынок, сходились за разговором докеры и моряки. В таких же пивных на узеньких улицах Николай спорил, шутил, разговаривал со сверстниками из Германии. И втайне, наверное, радовался, что выучил по постановлению бюро ЦК РКСМ немецкий язык...

Николаю — двадцать девять лет. Он председатель Всекопита — руководит общественным питанием страны, рабо-

# «Я горы готов»

стые» — ребята бузили, даже выгнали с собрания кого-то из местных комсомольских лидеров. Николай спокойно поговорил с ними, не увиливал от вопросов про безработицу, про жену директора завода, которая в пролете казенной на рынок ездит, про мастеров, что тормозят перевод рабочих из разряда в разряд.

— Никакие они не троцкисты, — сказал на прощание в райкоме. — Ребята как ребята. Подход нужен деловой, конкретный, и еще терпение. Работать с ними надо...

Вот я сейчас смотрю ленинградскую молодежную телепрограмму «Открытая дверь». На экране — художники в немыслимых одеждах показывают свои работы где-то в подвале; музыканты, фигуранты стриженные, рвут струны; студенты требуют справедливых выборов ректора; школьники бросаются на защиту разрушаемого старинного дома. И ничего, не вздрагиваю. Привыкли уже, поняли, что гораздо эффективнее сотрудничать с «неформалами», чем обличать их с комсомольских трибун. Так хочется повторить за Николаем: «Некие они не чуждые идеологические элементы. Ребята как ребята. Подход нужен деловой».

Есть счастливые люди, которым не грозит двоемыслие, поскольку то, во что верят, совпадает с их словами и поступками. По-моему, Николай Чаплин был из таких. У него работа, любовь, дружба, дело, вера, переплетались нераздельно. В его устах невозможно было услышать чиновничье: «Это твои проблемы». Все вопросы, все проблемы были его кровными.

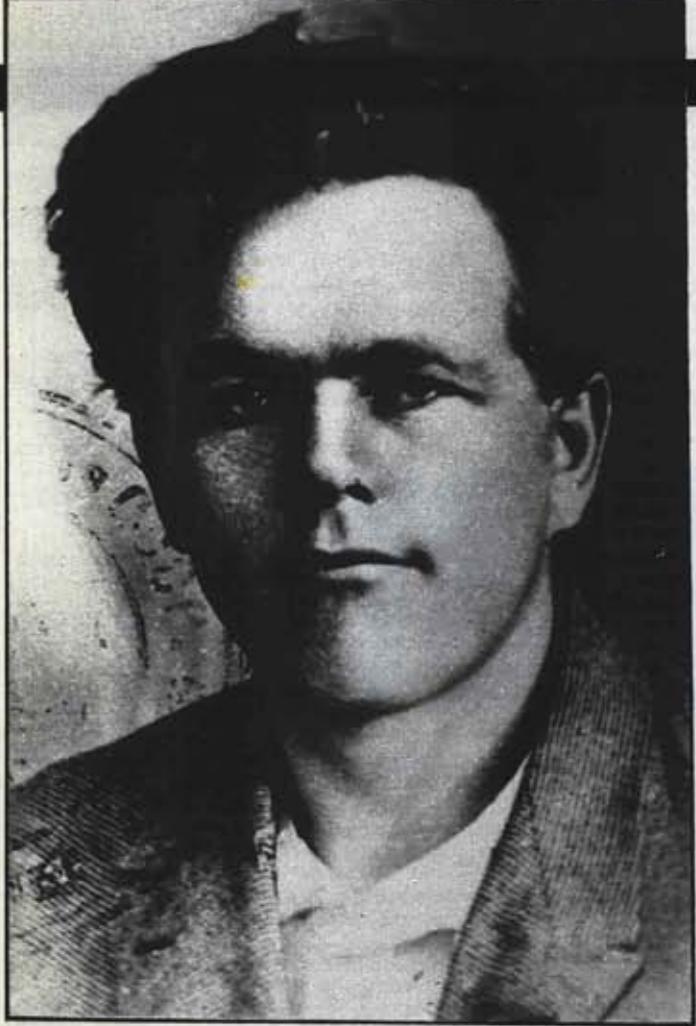
...Николаю восемнадцать лет. На случай уцелевшей страничке из дневника быстрая запись о свидании с бывшей одноклассницей и будущей женой: «Я взволнован и обрадован, но как всегдадержан. Вероятно, она обиделась, но что поделаешь, такова моя натура. Я все время думаю о ней, и тут — противоречие. Нужно работать, а личные переживания мешают. Настроение же мое жизнерадостное. Я горы готов свернуть!»

Ему девятнадцать. Сестра провожает его на новую работу из Смоленска в Тюмень. Сборы недолги. Взял в руки старый брезентовый портфель — и впе-

чили, студенческими, школьными столами, фабриками-кухнями. Кто-то из коллег шутя назвал его «главным поваром страны». Он отмахнулся, мол, какой я повар — щей сварить не могу. А потом выбрал себе в Москве рабочую столюю и ходил туда постоянно, осваивал технологию, учился лепить биточки, кашу варить, щи. И на совещания к себе не только руководителей приглашал, но и студентов, школьников, чтобы из первых рук узнать, как же их кормят. По стране мотался, викал, помогал, старался стать, как писал в письме домой, «толковым кооператором».

Ленинградец, председатель Совета ветеранов комсомола Александр Карлович Тамми, который в тридцатых годах жил вместе с Чаплиным в огромном доме на Каменноостровском проспекте, помнит, как любовно относился к Николаю Сергей Миронович Киров.

— Киров сказал нам: «В Ленинград скоро приедет отличный работник. Николай Чаплин. Будет работать начальником политотдела Мурманской дороги». А мы Чаплина, конечно, знали. В Ленинграде в то время секретарями райкомов партии друзья Чаплина работали — Сергей Соболев, Петр Смородин. Мы помладше были, тянулись к ним. На собраниях, активах становились рядышком, слушаем. Петя Смородин такой забияка был, все Чаплина выслушивал, про какой-то старый диван в Москве вспоминал, на котором они против оппозиции воевали. А Коля отбивался, посмеивался. Крепкие они были мужики. Никаких там плясок под гармошку, звонких призывов. Когда Чаплин на трибуну поднимался, брался за нее



Николай  
Чаплин.  
20-е годы.

# ОВ СВЕРНУТЬ!»

**Николай Чаплин стал лидером молодежи в трудные для комсомола времена. Шесть лет — с перерывом на работу первым секретарем Закавказского краевого комитета комсомола — он провел, точнее, прожил в ЦК. Заведующий отделом. С 1924 года — первый секретарь, с 1926 года по 1928-й — генеральный секретарь. Те годы оказались определяющими для судьбы страны. Переход от гражданской войны к мирной жизни, изл., начало кооперации деревни, первые попытки понемногу изл. свернуть. В партии — бесконечные дискуссии, в которых спор о путях развития социализма густо замешивался на личных амбициях лидеров, борьба за власть.**

обеими руками, вот так, чуть покачиваясь, начинал говорить, мы все замолкали. Верили ему. Слова кидал неторопливо, убедительно, чувствовалось, что продумано каждое. Мы ведь знали, что Чаплину трудно приходилось. Сын священника, хоть и бывшего, слухи там разные... Тогда тем, кто из рабочих, крестьян, как мы, дорога шире была. А уж к VIII съезду комсомола он, по-моему, и вообще не ко двору в Москве стал.

Вместе с Александром Карловичем мы пытались разобраться: почему молодой — всего двадцать шесть лет, очень опытный (шесть лет работы в ЦК) — Николай Чаплин покидает комсомольскую работу именно в 1928 году? Что стояло за решением партии и Сталина (а без него уже такие вопросы не решались) — забота о естественной смене кадров или.. И вот какая цепочка у нас сложилась.

1925 год. Обострилась борьба «новой оппозиции» и ЦК (Зиновьева и Сталина) за дальнейший курс партии и страны (за личную власть). Чаплин с шестью членами Бюро ЦК комсомола оказался в меньшинстве, решительно встал на

сторону ЦК партии. Между прочим, тот же Тамми в Ленинграде поддерживал их, хотя большинство комсомольцев города стояли за Зиновьевым.

— Для меня, — вспоминает Александр Карлович, — было важно, что зиновьевцы подрывали авторитет ЦК комсомола, который мы сами на съезде выбрали. А во-вторых, я, как и Николай Чаплин, не одобрял зиновьевскую идею о делегатских собраниях середняцкой молодежи в деревне. Они вели дело к новому союзу молодежи. А нам это не нужно было.

Александр Карлович вздыхает. Как ни крути, а объективно помогли они в то время Сталину, хоть и представить не могли, чем все это обернется...

Выступая на XIV съезде ВКП(б), обвиняя Зиновьева в том, что тот втянул комсомол во внутрипартийную дискуссию и вызвал тем самым жесточайший кризис в союзе, Чаплин высказал мысль, которая спустя несколько лет, когда комсомольцы под гром оваций называли свой союз на съездах не ленинским, а сталинским, прозвучала бы ахиромольной: «Мы стояли и стоим на той точке зрения, что комсомольское

движение должно развиваться под руководством всей партии, под руководством ее ЦК, а не являться монополией отдельных вождей, которые пытаются использовать комсомол в интересах своей внутренней борьбы в ЦК». Это заявление мог отнести на свой счет не только Зиновьев.

К VIII съезду Stalin поставил перед комсомолом несколько задач. Две первые — поднимать боевую готовность рабочего класса против его классовых врагов и организовывать массовую критику снизу — как-то оттеснили третью — молодежь должна овладевать наукой. До науки ли, когда предлагалась увлекательная задача: «За старые заслуги следует им (некоторым старшим товарищам) поклониться в пояс, а за новые ошибки и бюрократизм можно было бы дать им по хребту». А для этого разве нужна деятельность, думающая организация и самостоятельный руководитель? Гораздо надежнее — личная преданность.

Гораздо лучше подраспаливать страсти, закипевшие на съезде между ленинградцами и москвичами, и бухнуть на всю страну: «Чем объяснить, что «косаревцев» и «соболевцев» в комсомоле сколько угодно, а марксистов приходится искать со свечкой в руках?» Зачем Stalinу понадобилось раздувать эту аппаратно-бюрократическую истерию, когда ясно было, что не идеиные разногласия ее питали? Тем не менее и Соболев, и Косарев, и их сторонники были марксистами. Так каких же других

доверие оправдывать. Что же получилось с Чаплиным? Чаплин, зная о настроениях Ломинадзе, не принял должных мер, не сообщил о них партии, не боролся с ними. Больше того, он способствовал работе право-левашкого «блока».

В чем же была враждебность платформы этого блока? Прочитав в стенограмме съезда высказывания «правых леваков», которые ставились им в вину, я еще сильнее стала уважать Николая Pavlovich. Значит, и в 1929 году понимали люди, куда тащил страну Stalin. Вот только одно утверждение «оппозиционеров»: «Царит барско-феодальное отношение к нуждам и интересам рабочего класса и крестьянства». Это была правда, такая же, как и то, что уже пошли в ход дутые, преувеличеннные цифры из желания потрафить начальству, жестоко забюрократизировался аппарат.

Во всяком случае, поддерживал Nikolay трезвомыслящих людей и доносить на них не стал. В 1930 году за разногласие в мыслях еще не расстреливали, и поэтому задвинули его, подальше от партийной работы — в Центросоюз, а Ломинадзе — секретарем горкома в Магнитогорск...

Трижды видели родные, как плакал «железный брат» Nikolay. В день смерти Ленина. После убийства Kirova. И в июне 1937 года, когда приехал на дачу к сестре в Переделкино измученный материцей, оскорбленийми, которыми осыпал его в своем кабинете нарком путем сообщения Kaganovich. Тема тех ежедневных выволочек была определена заранее, ведь еще 3 июня в газете «Гудок» появилась разгромно-разумбистская статья «О вредительстве на Юго-Восточной дороге и оппортунистическом благодушии начальника дороги». Nikolay Pavlovich и был тем оппортунистом — начальником.

Говорят, что в июне Stalin сказал ему: «Пора тебе, Чаплин, выходить на большую дорогу». Ночью 29 июня его арестовали.

Последний раз Maria Pavlovna видела Nikolay вечером двадцать девятого, а на следующий день — Сергея. Ему позвонили в Ленинград. Он примирился, проговорил с родными несколько часов. В том, что Nikolay ни в чем не виноват, не сомневался. Прощаясь на перроне Ленинградского вокзала, Maria Pavlovna спросила Сергея: «Где теперь свидимся?» — «На Соловках», — мрачно ответил он. Но ошибся. В тюрьме Соловецкого монастыря оказался самый младший из братьев — Виктор. A Сергей — в лагере под Магаданом. Там и погиб. Возмутился нечеловеческим обращением с заключенными и был расстрелян.

Когда он сидел в ленинградских «Крестах», мой бабушке удалось вымолить свидание с мужем. Сергей шепнул ей, что на очной ставке свели его с Nikolayem, которого тоже доставили в Ленинград, в «Кресты», чтобы здесь «склепать» дело — заговор братьев с целью убийства Kaganovicha. Nikolay был измучен, истерзан и сказал младшему брату: «Правды, Сережа, здесь не ищи...»

— В одной из тюрем на стене камеры я увидел подпись: «Чаплин», — рассказал Александр Карлович Tammi. — Ух, и обрадовался я, думаю, жив, значит, Kolya! A уж потом мне сказали, нет, не жив, погиб. Это кто-то из братьев его метку нацарапал...

Их жизнь оказалась очень короткой. А как много они могли сделать! И Nikolay, и Сергей. И оставшиеся в живых братья их — Виктор, отсидевший почти восемнадцать лет, Александр, выгнанный из наркомпроса и перебивавшийся то дворником, то сторожем... Что же остается нам, внукам, от их судьбы, от их жизни? Чистота, вера, упрямство. Горькая плата за компромиссы. И память.

Юрий СОЛНЫШКОВ,  
профессор

# КОГДА НЕПОДСУДЕН БЮРОКРАТ,

**ИЛИ ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ ОТРАЖАЕТ ОСНОВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН СОЦИАЛИЗМА**

В течение многих лет нас уверяли, что грандиозные проекты осуществляются для блага советского человека. Именно для нас строятся заводы-гиганты, возводятся плотины на реках, создаются огромные водохранилища,ются каналы... Это для того, чтобы больше было в стране новоселей, а в домах — больше света, чтобы всем хватало дешёвой и удобной мебели, чаще радовали глаз обновки, а к столу всегда были мясо и рыба, овощи и фрукты...

Словом, сторонники проектов рисовали нам довольно-таки радужную картину. Правда, иногда возникали дискуссии, высказывались сомнения... Однако мажорный настрой, созданный заинтересованным ведомством, побеждал. Проходили годы, и выяснялось, что у того или иного проекта, реализованного в бетоне и металле, минусов значительно больше, чем плюсов. И зачастую, к сожалению, надежды и прогнозы не оправдывались. Да, кто-то бил тревогу... Но все ли голоса мы слышали?

Теперь такие проекты не только не рождают оптимизма, а, напротив, вызывают серьезную тревогу. Все чаще мы задаемся вопросом: не пора ли перестать хозяйствовать безоглядно, жить одним днем? И возникает неодолимое желание понять главную причину наших бед и просчетов. В самом деле, почему идеи, вышедшие из министерских кабинетов и воплощенные потом в конкретные проекты и постановления, дают подчас совсем не тот результат? Почему принимаются не продуманные до конца решения? Как могло получиться, что руководители, которым общество доверило управлять экономикой, допускали одну ошибку за другой?

Если начнем перечислять фамилии, то их окажется очень много. Да и всегда ли все дело в конкретной персоне? Принятие ошибочных хозяйственных решений — явление, которое во многом объяснимо.

Как звучит основной экономический закон социализма? Напомню: **обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества путем непрерывного роста общественного производства**. Это из учебника политической экономии, изданного в прошлом году.

Если такой экономический закон существует, то о чём нам, граждане, беспокоиться? Под влиянием этого закона руководители всех уровней просто не могут не заботиться о наиболее полном удовлетворении наших с вами потребностей. Не будем лукавить, каково по-

ложение на самом деле — знает каждый.

Кто-нибудь может подумать: какое мне дело до экономических законов? Пусть голова болит у политэкономов.

Хочу возразить: законы вырабатываются не для учеников. Из них выводят принципы, которые затем облекают в конкретные формы, методы и нормы управления экономикой. Хотим или нет, а по этим законам мы живем и трудимся. Экономические законы и законы управления — теоретический фундамент хозяйственного механизма. И от того, насколько познаны эти объективные законы, действующие помимо нашей с вами воли и сознания, зависит **качество нового хозяйственного механизма**.

Полагаю, понятна роль основного экономического закона. Однако отражает ли он сегодня те объективные связи, под влиянием которых развивается наша экономика? Отнюдь. На мой взгляд, его формулировка несостоятельна, неверна... А коль ошибочен закон, то ошибочны и вытекающие из него принципы. Существующий закон не появился вдруг, он выношен еще в начале 50-х, его главная идея изложена в работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Стalinские определения экономических законов в ходу и по сей день, они зримо или незримо влияют на нашу жизнь.

Почему же сталинское определение основного закона, которое не отражает действительного положения вещей, так живуче?

Причин много. И, наверное, одна из них — удобство формулировки для бюрократии. Слова, облеченные в одежду объективного экономического закона, укрепляют веру в правильность решений руководителей. Дескать, все, что предписывают делать «верхи», — это к нашей общей выгоде. Ты — «винтик», маленький человек. А посему тебе не следует искать в решении руководителя здравый смысл, требовать доказательств преимущества выбранного им варианта действий... Нужно просто выполнять распоряжения, выполнять не рассуждая.

Задумайтесь, какую свободу бюрократу дает наша вера в существование такого закона. Раз закон действует, то обществу не следует контролировать решения, которые принимают в министерствах и ведомствах, в других государственных органах управления.

Что такое экономический закон? Это отражение объективно существующих причинно-следственных связей между экономическими явлениями. Например, Гегель под законом понимал «такую

связь двух явлений, когда при наличии одного явления всякий раз происходит и другое». А если в ранг объективного закона возведены требования к экономике? Кто-то может возразить: а что, собственно, в этом плохого? Если в основном экономическом законе отражены правильные требования о наиболее полном удовлетворении наших потребностей, то кому это помешает?

Помешает. Такой «закон» неправильно нас ориентирует, притупляет нашу социальную бдительность. Дескать, сосредоточивайте свое внимание и усилия только на выполнении тех задач, которые вам непосредственно поручены. А в том, что задачи поставлены верно, не сомневайтесь. Но, к сожалению, это не всегда так. Вы убеждены, что каждый руководитель прежде всего думает об интересах общества? А бюрократ? У него своя система ценностей. Он думает не о том, какой из возможных вариантов предпочтительнее, а зачастую о том, как угодить начальству или избавить себя от дополнительных хлопот. Ведь его, бюрократа, благополучие пока что зависит от начальства, а не от нас с вами. Сплошь и рядом главное стремление чиновника — соблюсти ведомственные интересы, которые часто тесно связаны с личной выгодой.

Кто участвует в соревнованиях по спортивному ориентированию, знает, что самое главное — правильный выбор направления движения. Если ошибся, то ноги уведут тебя дальше от того места, где следует быть. Поэтому, если мы хотим жить лучше, нужно активно включаться в управление государством. Коллективно обсуждать все «за» и «против» возможных решений. Наверное, только коллективный разум поможет избежать грубых ошибок. Но главное — не спешить с выводами. Верно говорят финны: «Не надо бежать быстрее, чем соображает голова».

Бюрократизм называют одной из самых опасных социальных болезней, которая подавляется только при наличии достаточного социального иммунитета. То есть когда трудовой коллектив, жители региона, общество в целом имеют возможность эффективно воздействовать на руководителей.

У нас давно говорят и пишут о необходимости борьбы с ведомственностью. Однако она живет и здравствует. Одолеть многоголовое чудище ведомственности можно только всем миром, то есть всенародно. Почему же мы — будь то трудовой коллектив, жители района или города, наконец, общество — неспособны к такой борьбе?

Обществоведы нас долго и методично убаюкивали и разоружали: дескать,

не беспокойтесь, система управления работает как надо. Одним из инструментов такого воздействия на общество было определенное направление в политической экономии социализма. Его главная задача заключалась в прославлении положений, выдвинутых Сталиным. Однако и сегодня радикальных перемен в этой науке мы не видим. И не случайно.

На июньском Пленуме (1987 г.) ЦК КПСС были приняты основные направления радикальной реформы управления экономикой. Ее цель — ориентировать производство на конечные, социально значимые результаты, на более полное удовлетворение потребностей людей. Но если нынешнее определение основного экономического закона сохранится, то, на мой взгляд, оно будет мешать достижению цели реформы, и мы не получим того эффекта, на который рассчитываем.

Кто-то спросит: а что автор этих строк предлагает? Попробуем немного порассуждать.

Главное, от чего зависит, какие из наших потребностей будут удовлетворяться в большей, а какие — в меньшей степени — это цели экономического и социального развития страны, которые принимаются на каждые очередные пятнадцать лет и ближайшую пятилетку. Следовательно, если центральные экономические органы выдвигают эти цели, то они и предопределяют в значительной степени уровень удовлетворения наших потребностей.

Что нужно сделать для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества? **Во-первых**, на мой взгляд, надо провести огромную целенаправленную работу по определению потребностей общества в целом и отдельных слоев и групп населения в ближайшем и отдаленном будущем. Иными словами, нужно установить, что потребуется каждому из нас и всему обществу.

**Во-вторых**, следует выяснить, что хотят иметь люди непременно завтра и что согласны отложить на послезавтра. Это очень сложная работа. И созданный Всесоюзный центр по изучению общественного мнения тут может помочь.

Наконец, **в-третьих**, требуется рассмотреть возможные пути развития общественного производства и выбрать наилучший.

Все это — предмет научных исследований, в том числе и социологических. Однако при всем уважении к науке нельзя забывать, что она не всесильна, и не всегда объективна, ибо попадает под влияние ученых, которые не всегда

бескорыстны. Видимо, только в результате научных исследований могут быть обоснованы разные варианты целей развития. А вот какой из этих вариантов лучше, предпочтительнее, можем сказать только все мы вместе.

В условиях подлинного народовладения, отвечающего сути марксистско-ленинского учения о социализме, само общество должно взвешивать все «за» и «против» каждого варианта целей развития экономики и решать, какой из них предпочтительнее. Возникает объективная связь между предпочтениями общества, которые отражают общественное мнение, и направлениями развития производства.

Наверное, эта очень существенная связь и должна быть отражена в основном экономическом законе социализма. А суть его, по-моему, можно было бы выразить примерно так: **развитие социалистического производства для удовлетворения общественных и индивидуальных потребностей регулируется предпочтениями общества**. То есть от общественного мнения зависит, какой вариант развития экономики предпочтительнее. Вот тогда в центр экономической политики будет поставлен человек с его интересами и побуждениями.

Жизнь уже дала немало примеров того, как общественное мнение повлияло на принятие важных решений. Самый яркий — прекращение работ по переброске части стока северных и сибирских рек. Недавно в печати было сообщение об отмене решения о строительстве АЭС на Кубани. Правда, на сооружение разных объектов более десяти миллионов рублей истратить все же успели.

Как же нам действовать в дальнейшем? Ответ один — в полной мере использовать те права, которые нам предоставлены. Иными словами, осуществлять народовластие на деле.

Сегодня медь оркестров уже не радует слух «покорителей природы». Внимание общественности привлечено к судьбам Аральского моря и Ладоги, Карабогаз-Гола, Севана... А сколько рек и речек постепенно превращаются в сточные канавы или пересыхают? Сколько тысяч фабрик и заводов отправляют воздух городов и поселков? И если какой-то хозяйствственный руководитель за частоколом плановых цифр не хочет ничего видеть, то почему молчим мы? Почему позываем?

Сейчас в ФРГ ведутся дебаты: развивать ли атомную энергетику или не развивать, как делают в США, Швеции?.. У нас, похоже, на сей счет дискуссий не ожидается — вопрос, который затрагивает интересы поколений, решен однозначно: развивать, строить, наращивать. Опять-таки, читатель, для нашего же блага. Но если мы чего-то не понимаем, никак не в силах осмысливать это благо, то Госатомнегроиздзор, Минатомэнерго, проектировщики, ученые должны бы дать нам толковые и убедительные объяснения: для чего, скажем, в сейсмической зоне, заповедном Крыму, на берегу Азова понадобилось сооружать АЭС, а не развивать нетрадиционные источники энергии?

Когда нефтяники, химики и представители других отраслей народного хозяйства спешат на юг провести свой отпуск, то это их личное дело. Но когда принимается решение добавить к существующим химическим предприятиям еще одно, резко увеличить промышленные мощности, то это уже позвольте, далеко не личное дело химиков или госплановцев. Или это своего рода повод, чтобы лишний раз за казенный счет понежиться под лучами крымского солнца? Собственно говоря, подобные вопросы мы должны прежде всего адресовать себе, а не владельцам авторитетных должностях, ибо всевозможные нарушения, злоупотребления допускаются с нашего молчаливого согласия, из-за нашей социально-политической пассивности, обывательского равнодушия.

На уровень нашей жизни влияет правильное понимание не только основно-

го, но и других экономических законов социализма. Все мы — не только работники общественного производства, но и потребители. У нас должны быть возможности выражать свои предпочтения и пожелания. А органы управления, в первую очередь местные, должны руководствоваться ими. И речь, по-видимому, следует вести не только о количестве и качестве продуктов питания, о жилье, о защите окружающей среды...

В последнее время много говорят и пишут о ценообразовании. Наверное, в том, что в основе цен на многие непродовольственные товары лежит затратный принцип, есть вина и тех, кто поясняет: общественно необходимые затраты — это затраты на производство товара при средних условиях. Ну, а если этот товар выпускает одно предприятие? Тогда получается, что достаточно определить затраты производства, добавив определенный процент прибыли. Вот тебе и цена. А захотел ли потребитель столько заплатить за этот товар?

Странно напомнить, что **Маркс и Ленин под стоимостью понимали не затраты труда на изготовление того или иного товара, а определенные экономические отношения между людьми**. Однако сегодня понятие «стоимость» у каждого ассоциируется с затратами. Когда мы спрашиваем: «Сколько это стоит?», то имеем в виду только интересы одной стороны — продавца товара. Тогда как закон отображает отношение двух лиц — продавца и покупателя.

Раздаются предложения восстановить прежнее наименование основного закона товарного хозяйства и называть его не законом стоимости, а законом ценности. Поскольку именно так в работах русских ученых XIX века, посвященных экономической теории Маркса, переводилось использованное им слово «верт»: ценность, цена, стоимость. Какое из них больше соответствует сущности закона?

Ценность товара определяется не только его свойствами, а в первую очередь способностью удовлетворять наши потребности. Поэтому товары, которые не в полной мере соответствуют потребностям, имеют низкую ценность. Хотя на их производство может быть затрачено много труда.

Наверное, в предложении иначе называть закон стоимости рациональное зерно есть. Но главное, конечно, не в этом. Важно правильно понимать, что такое общественно необходимые затраты. Знать, что они формируются в результате взаимодействия спроса и предложения с учетом всей совокупности имеющихся на рынке товаров.

Затратный принцип ценообразования не дает стимулов к сокращению расхода ресурсов, к ликвидации, например, встречных перевозок. Мало кого сегодня удивляет, если украинские предприятия заказывают металлопрокат на Урале, а тамошние — на Украине. И везут навстречу друг другу не какой-нибудь десяток, а миллионы тонн продукции за тысячи километров. Так колеса железнодорожных платформ и вагонов «наматывают» наши трудовые рубли.

В предвоенные годы председатель Госплана СССР Н. А. Вознесенский распорядился выдать одному из сотрудников премию в размере двухмесячного оклада и путевку в санаторий за то, что тот обнаружил нерациональные перевозки. Можно на такое рассчитывать сегодня? Вряд ли. Хозяйственные руководители не заинтересованы в снижении цен на промышленные и другие товары. Соревнования предприятий за рынок, за потребителя путем существенного повышения качества продукции или снижения цен на нее, мы пока не видим. Похоже, что нас ориентируют на постоянный рост цен и на соответствующее увеличение зарплаты, пенсий и стипендий. Кто выиграет от снижения покупательной способности рубля? Во времена энха, когда была острая конкуренция между частником и государством, вопрос, как сделать товар лучше

и дешевле, стоял на первом плане. Создается впечатление, что многим хозяйственным руководителям некогда задуматься, во имя чего они работают. А главное — для кого?

Кто не слышал о законе распределения по труду? Считается, что у нас материальные блага распределяются в соответствии с количеством и качеством труда работников. А каково положение в действительности? Если можно почти ничего не делать и получать за это деньги или, наоборот, «вкалывать» из всех сил, а в получку иметь то же, что полагается нерадивому или бракоделу, то поневоле придется к выводу, что такого объективного закона нет. Провозглашен основной принцип социализма: «от каждого — по способности, каждому — по труду» (наверное, было бы точнее — «по результатам труда»). Но автоматически этот принцип, как и любой другой, не действует. Чтобы платить каждому в зависимости не только от количества, но и от качества труда, нужно многое сделать в области нормирования и контроля.

Нам нельзя забывать слова В. И. Ленина о необходимости «стражайшего контроля со стороны общества и со стороны государства над мерой труда и мерой потребления». Согласитесь, многолетняя практика подтверждает актуальность этого положения.

Верно говорят, что лучший контроль — совесть человека. Но создание такого контроля — процесс длительный. А пока больше надежды на контроль со стороны трудового коллектива. Его главная цель — ликвидация «управников». Полная оплата труда хорошего работника — ключевой вопрос повышения эффективности производства.

Проблема контроля за соответствием между доходами и фактическим потреблением сложнее. Ну, а цель простая — поставить спекулянта, вора, взяточника и всех остальных, кто приобрел средства нечестным путем, в такие условия, чтобы они не смогли ими воспользоваться. Пусть живут так, как подпольный миллионер Корейко из «Золотого теленка». Может быть, тогда охота спекулировать, брать взятки и воровать пропадет?

**Нужен гласный контроль и за общественными фондами потребления.**

Ведь это часть прибавочного продукта, предназначенного для удовлетворения потребностей всех членов общества. Из этих фондов выделяются средства на детские сады, школы и больницы. Казалось бы, у нас одинаковые права получать образование, медицинскую помощь. Однако в действительности положение иное. В разных регионах страны, в различных отраслях народного хозяйства, трудящиеся при прочих равных условиях имеют разную долю из общественных фондов. Подчас эти различия можно наблюдать на двух соседних предприятиях или в учреждениях, а то и в одном учреждении, но — по отношению к разным лицам.

При распределении общественных фондов потребления проявляется откровенный субъективизм, что породило такое чуждое нам явление, как элитарность. «Элита» многое получает или приобретает по знакомству, нередко на взаимовыгодной основе, или по звонку «сверху». В печати обнародованы факты социальной несправедливости в области школьного образования и здравоохранения, говорилось, например, о специшколах, куда дети попадают не по способностям, а с учетом принадлежности их родителей к определенному «кругу». Много писали о недостатках в работе медицинских учреждений. Министр здравоохранения страны Е. И. Чазов рассказывал о том, что в Тынде — столице БАМа — больница размещена в бараке без воды и канализации. А в Чите, в областной психиатрической больнице, у 150 человек нет коек, только матрацы...

Прибавочный продукт в социалисти-

ческом обществе создается собственниками средств производства и им принадлежит. Следовательно, они должны осуществлять контроль за его распределением. Так что надо беспокоиться не только о заработной плате и премиях. Жизнь показала, что существующая система контроля за использованием общественных фондов потребления не эффективна, замкнута на ведомственные и местнические интересах. Она во многом зависит от тех организаций и должностных лиц, которых призвана контролировать. Где уж тут бороться с бюрократами, если в их руках рычаги распределения этих фондов!

Недавно встретил знакомого. Спрашивал: «Как перестраиваешься?» Отвечает: «Не к тому обратился». И засыпал меня вопросами: «Почему замминистра, который умышленно дезориентирует общественность, не снимаются с должности? По какой причине бургомистр западногерманского города Мангейма ищет для своей дочери работу как все — с помощью компьютера? Где теперь такие руководители, как первый нарком продовольствия А. Д. Цюрупа, с которым случались голодные обмороки?» Что надо было ему ответить?..

В кибернетике есть такое фундаментальное понятие, как обратная связь. Она представляет собой обратное воздействие результатов процесса, которым управляют, на управляющий орган. Эффективно управлять не удается, когда нет хорошо налаженной обратной связи. Если, например, администрация предприятия не ощущает на себе, в том числе на собственных доходах, последствий своих решений, то вряд ли такое предприятие будет хорошо работать.

Вот если бы зашел разговор о таком законе: **эффективность управления экономикой и ее звенями зависит от наличия в системе управления обратных связей, отражающих интересы общества**, то за то, чтобы о нем все знали, стоило бы проголосовать обеими руками. Из этого закона вытекает принцип: при создании конкретного хозяйственного механизма во всех звеньях экономики устанавливать обратные связи, которые ориентируют органы управления на принятие решений исходя из интересов общества. Разумеется, сделать это не просто. Но только привлекая весь народ к управлению, как говорилось на XIX Всесоюзной конференции КПСС, можно решить наши хозяйственные проблемы.

Наверное, каждый по себе знает, насколько результаты выполнения той или иной работы зависят от заинтересованности в ней. Маркс отмечал, что «идея», не являющаяся «действительным интересом» масс, становится «только предметом временного энтузиазма и только кажущегося подъема». Так что, столбовая дорога к эффективному общественному производству лежит, во-первых, через укрепление положения каждого как хозяина на своем предприятии и, во-вторых, через заинтересованность в получении высоких конечных результатов работы. Однако, чтобы достичь этого, всем и каждому нужно учиться, учиться сравнивать варианты и выбирать наилучший. Ведь проблема выбора путей развития существует не только в стране в целом. Она стоит перед каждым заводом и колхозом, деревней и городом.

Разумеется, ленивому уму, приспособленцу проще жить по указке сверху. Но коли нам хочется лучшего, то нужно думать и действовать. И если мы, как сказал А. М. Горький, не сумеем наладить жизнь, то сами будем виноваты и никто другой.

XIX партконференция призывает всех нас не бояться открыто ставить проблемы общественного развития, критиковать и спорить. Это одна из форм нашего участия в обсуждении государственных и общественных дел. В ходе перестройки каждый, наверное, почувствовал на себе повышение интереса к общественным делам. Некоторые прямо рвутся к обсуждению ключевых проблем управления. А чтобы управлять, как известно, нужно быть компетентным.



## Евгений ДОДОЛЕВ Фото Сергея ВЕТРОВА

Весь первый этаж Хорезмской облпрокуратуры заняла следственная группа Прокуратуры СССР. На стене одного из кабинетов — большая карта страны. По всему ее цветастому полю — десятки узких бумажных полосок с фамилиями следователей и криминалистов, приехавших сюда почти из всех союзных республик для выполнения особого задания.

Иные здесь уже шестой год, кто-то прибыл лишь на днях... Не все в группе уживаются, не хочу рисовать приторно-идиллическую картину с «полнительными» детективными заставками. Работа тяжелая и опасная — здесь, в Средней Азии, они распутывают узелки коррупции, свитые мафией, старательно «сующие палки в колеса» невиданному доселе следствию. Следствию, аналога которому не было в отечественной практике. Следствию, которое по мере того, как становятся известны подробности и масштаб преступлений, приобретает отнюдь не узбекскую окраску. Следствию, в поле зрения которого оказались министры, высшие чины республиканских МВД, советские и партийные работники всех рангов вплоть до секретарей ЦК компартий союзных республик.

Работать неимоверно трудно. В мае, когда я в составе «весьма ограниченного контингента» журналистов там находился, было относительно спокойно, если верить старожилам следствия.

Неуютно только было на тридцатиградусной жаре в титановых бронежилетах.

Непривычно было проводить ночь в «жигуленке», мчавшемся в составе спецколонны по туркменской пустыне, когда слева на ребра давит кофр фото-

коллеги, а правое бедро испытывается на прочность прикладом автомата, который солдат-автоматчик не выпускает из рук даже во время трапезы.

Но еще более непривычно слышать на планерке сообщение о том, что, по оперативным данным, профессиональным бандитам уплачено аванс в размере 150 000 рублей за совершение теракта с целью физического уничтожения кого-либо из руководителей группы. Так и прозвучало: «кого-либо».

То, что в республике процветает институт наемных убийц, отмечал в своей служебной записке (1985 г.) министр внутренних дел Узбекистана. То, что республика поделена на сферы влияния преступных кланами, известно. Но до некоторых пор уголовники и казнокрады не вступали в столь очевидный альянс. Теперь, когда обе преступные стороны почувствовали, что их берут в оборот, началась тревожная консолидация.

Поэтому следователям рекомендуются из гостиницы на работу пешком неходить, на охрану вокруг коттеджа особенно не рассчитывать, одним словом, быть начеку. Даже членов семей, проживающих в радиусе тысячи километров, рекомендовано эвакуировать. (Еще до поездки в Ургенч я знал, что немало семей работников группы давно кочуют по квартирам друзей, не выдержав прессинга подспудного шантажа и угроз.)

К этому непросто привыкнуть. Очень непросто. Для того чтобы остаться в группе (номинально и душой), необходимо удовлетворять по меньшей мере паре однозначных условий.

Первое. Быть Профессионалом с большой буквы, то есть грамотным, умным, опытным, смелым и — это основное! — неподкупным. (Одному из руководителей группы, Султану Алиевичу Салаутдинову, предложили однажды

самому назвать количество... миллионов, достаточных для прекращения дела. Он связался с Москвой — может, «согласиться на взятку», как-никак прибыль казне быстрая и нехлопотная, ведь другим путем выкачать эти миллионы непросто. Принципиальная «Москва» отказалась. Как можно? Работнику центрального аппарата Прокуратуры Союза? Из Москвы — это мне не раз придется повторить — виднее, «что такое хорошо» и «что такое плохо».)

Второе, думаю, сложнее: ежедневно надо доказывать свою способность играть ва-банк. Способность, граничащую с осознанным самопожертвованием и основанную прежде всего на Вере и Неприятии. Это сложно. Потому что неприятие устоявшегося и канонизированного может позволить себе только сильная личность. Потому что по-хорошему фанатичную веру в окончательное торжество справедливости и законы юристы из особой группы обязаны денно и нощно сочетать — такова специфика этой работы — с пугающим недоверием ко всем и всему.

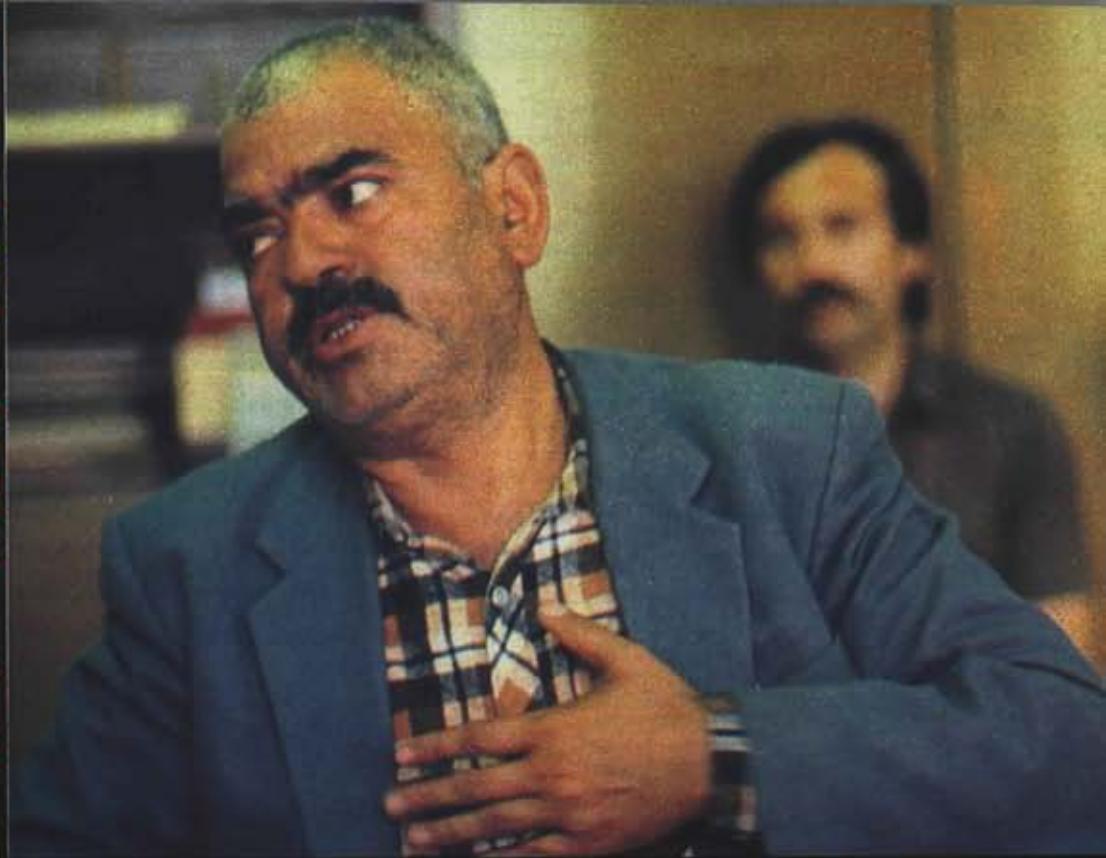
Уж где-где, а здесь стены наверняка имеют чуткие уши. Поэтому работающим в группе фактически запрещено («не рекомендовано») обсуждать свою работу (даже друг с другом, а с посторонними и подавно). Вернее, ее детали и частности. Тот же Салаутдинов посоветовал как-то, что не может иногда подсказать пришедшему за советом следователю, в каком направлении надо развивать расследование. Тайна двоих — это что? Правильно, уже не тайна. Между прочим, следователи допрашивают подозреваемых по двое. И все же те времена от времени отчаянно переходят от намеков к любовным предложениям. Бывало, предлагали миллион (1 000 000 рублей) только за то, чтобы дело передали в местные инстанции.

«...Люди называют его наш Ленин», — говорила жена бывшего первого секретаря Кашкадарьинского обкома партии Р. Гаипова, показывая гостям праздничный пиджак мужа, по-брежневски густо увешанный блестящими наградами. Говорила, как и пристало сиятельной супруге сановника-миллионера, степенно и вальяжно, хоть и не без тревоги — гости уж больно неожиданные.

...С трудом получив из «Москвы» (дело было в марте 1985 г.) сдержанное согласие на арест вельможного преступника, руководитель группы с несколькими проверенными коллегами приехал в Хорезмскую область, где тогда жил Гаипов. И занялись они... праздными делами. Для отвода глаз. Местные правоохранительные органы пришлось дезинформировать относительно цели служебного визита. Иначе нельзя было рассчитывать не только на успех операции, но и на личную безопасность. (Одно из покушений на руководителя группы санкционировал бывший министр внутренних дел Узбекистана К. Эргашев!) Пару дней они деловито мотались по окрестным достопримечательностям, а вечерами демонстративно отдыхали.

«Москва» запретила арестовывать вельможного вора и взяточника в стенах собственного особняка; санкцию на арест разрешили предъявить лишь в здании облпрокуратуры. Казалось бы, нелепое требование, учитывая всю сложность ситуации... Но кому-то захотелось, чтобы все было чинно. Предстояла весьма щекотливая операция — тактично и аккуратно пригласить Гаипова в это строгое учреждение. И вот уже битый час сидели необычные гости из следственной группы Прокуратуры СССР (представились они, кстати, работниками республиканской прокуратуры, благо южное солнце их уже надеж-

## ЗАКОН И ТЫ



но высмоглило да и языком овладели за годы работы здесь вполне сносно) в «ханском дворце», пили отборный зеленый чай и вели неторопливую беседу с Гаиповыми... Услышав крик из спальни, находившиеся в гостиной бросились туда. Увы, они опоздали: до того, как удалось вырвать восточный кинжал из окровавленной руки Гаипова, тот успел исполосовать свое привыкшее к холе тело. «Уходите!» — хрюпал умирающий. «Вы виновны!» — кричали жена и дочь. Тринадцать ножевых ранений...

К тому, какие тайны унес с собой самоубийца, я еще вернусь... Самое горькое, что история с неподъемным характером не единична. Один из подследственных, сообщив местонахождение трех тайников с преступно нажитыми сокровищами, на следующий день выбросился из окна. В предсмертной записке он отказывался от своих показаний, уверял, что ввел следствие в заблуждение. Тем не менее по всем трем адресам были обнаружены подпольные хранилища с ценностями на сотни тысяч рублей.

Что заставило взрослого, серьезного мужчину, взрезав разбиваемым стеклом вытянутые вперед руки, безрассудно шагнуть в оконный проем на встречу нагому асфальту?

А кто предупредил министра К. Эргашева о готовящемся аресте? И подсказал ему скорый и удобный (для вышестоящих пособников) выход — пулю в лоб? Не те ли, кто до этого затруднял привлечение министра-преступника к уголовной ответственности ссылками на его депутатство (в Верховном Совете республики)? Не те ли, кто награждал уже выявленного взяточника почетными правительственные наградами? Помню тягостное молчание следователя по особо важным делам

Царские рубли, старинные динары, антикварные браслеты, бриллианты, кольца, часы и другие ценности — всего на 8 миллионов рублей, изъяты следственной группой за два месяца только у двух должностных лиц.

Бывший первый секретарь одного из райкомов партии Нор Мелеев вымогал взятки у председателей колхозов.

Конец?..



Конфискованные миллионы в надежном сейфе. Теперь можно и немного отдохнуть...

Еще час назад следователи Б. Абдурахимов (слева от задержанного) и В. Лахшия (справа) увещевали министра просвещения — выдайте деньги добровольно, без неприятных процедур. Давали, по существу, шанс «сохранить лицо»... Значок депутата Верховного Совета республики все еще на пачке его пиджака, но завтра на допросе этот человек выдаст сто тысяч рублей... Кстати, в день задержания, 24 мая, республиканская газета опубликовала речь министра: «Просим разрешить оставить существующий объем управляемого аппарата Министерства просвещения и Госкомпрофтехобра...»



при Генеральном прокуроре СССР Н. Иванова, когда ему сообщили: «Санкции на арест одного из высокопоставленных взяточников до сих пор нет». Впрочем, неопровергимость улик может подтвердить лишь суд. Но когда до суда-то дойдет?.. Пока у следствия осечек не было, невзирая на пристрастное к нему внимание. Самое трудное — передать собранное в суд. Ах, сколько их, «волосятых», но таких холенных рук!

Кто подкинул пистолет бывшему первому заместителю министра внутренних дел Узбекистана? Ведь и руководителям МВД не положено лежать в госпитале вооруженными. А Г. Давыдова нашли на больничной койке с тремя пулевыми ранениями в голову. Самоубийство? Может быть, может быть... Я не медик... А медики говорят: всякое случается. Такие дела.

и из Гохрана). И брежневский визирь, распустив слух о «несправедливой травле былыми завистниками», ушел в лучший из миров, умолчав при этом о многих «соратниках», также разворовавших страну.

Преступники в мундирах опаснее даже их штатских сообщников, занимающих высокие кресла, поскольку, будучи хорошо знакомы со следственной «кухней», знают, куда и как надо наносить контрудары. И работе особой группы Прокуратуры СССР доставляют немало хлопот. Не всегда следователи группы могут опереться на поддержку коллег из милиции без оглядки на возможное предательство. Обжегшись на молоке, вынуждены и на воду, как говорится, дуть.

Погрязшие во взяточничестве и хищении лица вступают в сговор между собой и направляют (по советам «своих

юристов») в высшие инстанции коллективные жалобы о якобы незаконных действиях следствия (при этом не забывая указать о своей непричастности к преступлениям). Одному, дескать, выбили челюсть, другому сломали ребра, к третьему подключили ток, четвертый пал жертвой какого-то неизвестного лекарства и под его воздействием оговарил себя и других. И потому группу без конца проверяют самые разные инстанции. Неважно, что при проверках устанавливается лживость этих измышлений. Главное, заронить подозрение, распылить силы, потрепать нервы, расплодить слухи. У самих-то клеветников опыт богатый...

Бывший заместитель начальника УВД Бухарского облисполкома Рахимов получил приличный срок за взяточничество. Оказавшись в колонии вместе со своими соучастниками, которых сам, между прочим, ранее активно разоблачал (такому сообщнику сподручно кричать «дерхи вора», на него не подумают...), он стал не менее активно склонять их к подаче коллективных жалоб на «незаконные методы ведения следствия». Некоторые из них сообщили в Прокуратуру СССР о готовящейся

ю более методично. И, используя свое влияние, полномочия и разветвленные преступные связи, наносят более ощущимые удары. Цель противоборства со следствием одна: путем клеветы, шантажа, дезинформации попытаться не только избежать ответственности за преступления, но и сохранить свои позиции и привилегии.

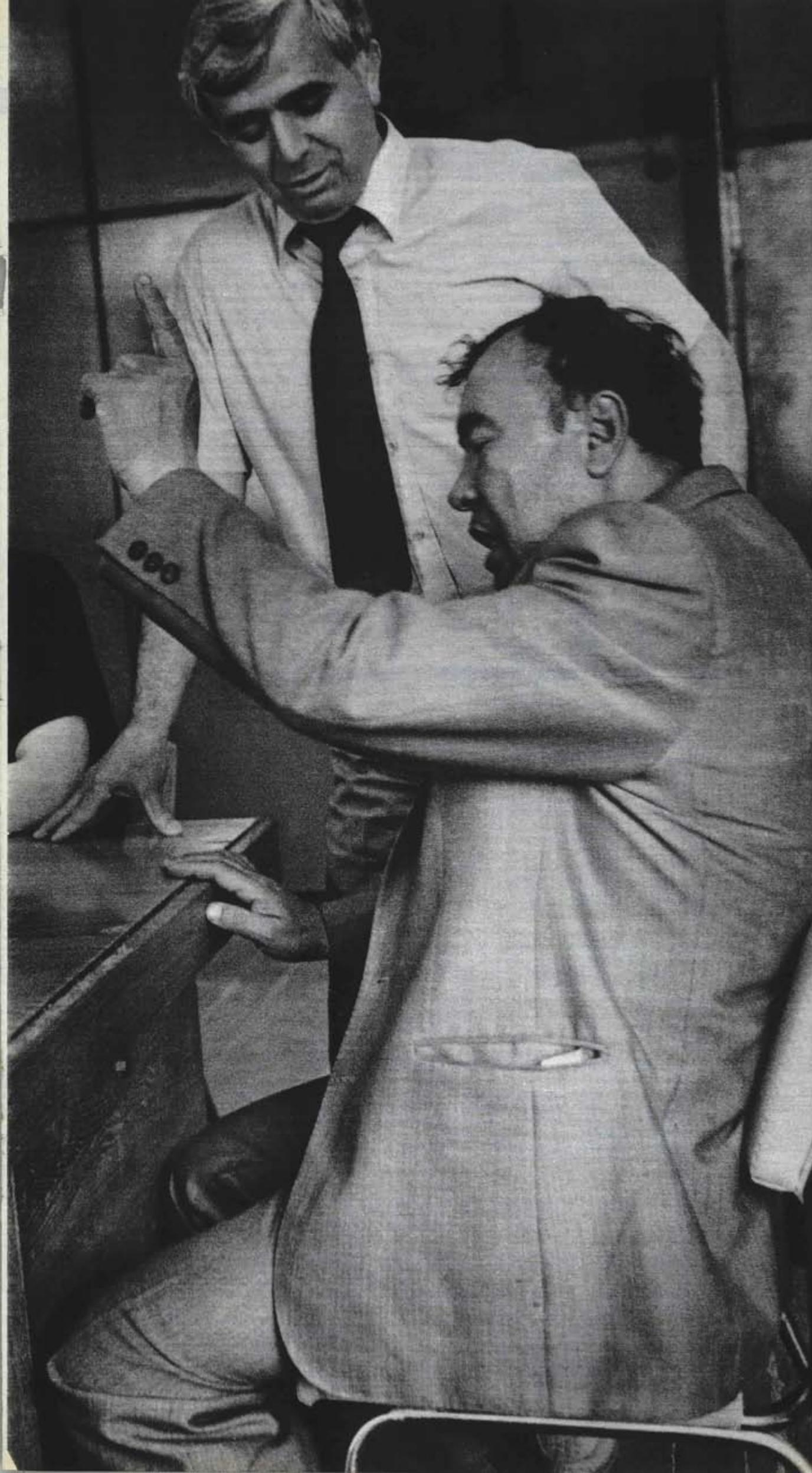
Однако, повторюсь, исполнительные функции шельмования борцов с коррупцией зачастую возложены на коррумпированных (само собой, я не имею в виду всех) работников МВД. Быть может, такая практика и сложилась подспудно в недрах недобродой славы НКВД, но «застойную окраску» приобрела в те годы, когда руководство милицией осуществлял Ю. Чурбанов, зять Брежнева.

После того как тридцатипятилетняя Галина Брежнева вышла замуж за подполковника милиции Юрия Чурбанова, который на девять лет моложе ее, бывший незаметный офицер становится начальником политуправления МВД, через семь лет — заместителем министра, а в 1980 году — первым замом Щелокова, близкого друга Брежнева со студенческих лет. После смерти самодержавного тестя Чурбанова перевели на должность заместителя на-

чальника внутренних войск МВД, а в начале прошлого года арестовали.

Из обвинительного заключения по делу бывшего первого секретаря Бухарского обкома партии Абдувахида Каримова: «Во время обеда на даче облисполкома Каримов, опасаясь, что выявленные упущения в его работе будут доведены до сведения руководства... вручил Ю. М. Чурбанову в качестве взятки 10 000 рублей... Об этом Каримов сообщил в заявлении на имя Генерального прокурора СССР от 17 августа 1985 года (сравните с датой ареста Ю. Чурбанова, не правда ли, занятно? — Е. Д.)».

Из показаний Каримова: «Прямо из аэропорта поехали в г. Газли... Чурбанов решил посетить один из продмагазинов... Покупательницы высказали недовольство плохим снабжением мясом.



Еще одна очная ставка... Вот фразы из протоколов. «Я верный ленинец. Знаю, что все брали, но я, белая ворона, не брал, люди «тухмат» на меня делают, оговаривают». «Клянусь молоком матери, я не люблю ценности, деньги и золото. Когда вижу их, голова кружится». «Зря вы меня посадили, семья с голоду умрет». «У меня были деньги, но я их сжег, если бы не сжег, то выдал бы добровольно».

Эмоции, эмоции...

## Вячеслав КОНДРАТЬЕВ

**M**не одиннадцать лет... Утром, еще до завтрака, я бегу на речку, к омуту, и с наслаждением купаюсь. Я хорошо плаваю, и мать не боится отпускать меня на реку одного, да и вообще в деревне я более самостоятелен, чем в Москве. После завтрака я отправляюсь на стройку. Здесь интересно для меня все: и как ловко каменотесы обрабатывают камень, и как пильщики пилият лес, здесь таращат движок, поднимающий «бабу» для забивки свай, тут и большая плоскодонка, правда, без весел, но я управляюсь шестом, благо река не глубока. Однако главное для меня здесь — конюшня, где среди рабочих лошадок находятся две выездные — кобыла Красотка и жеребец Пионер, еще не облезженный и ходящий только под седлом. Это седло, остро пахнущее кожей и потом, висит в конюшне, и когда я захожу туда, то всегда бросаю красноречивые взгляды на него, и на конюха Степана, красивого пятидесятилетнего мужика с иссиня-черной бородкой и с ясными, очень голубыми глазами. Дело

Пионер тяжело дышит и поглядывает на меня. Он явно недоволен задержкой и нетерпеливо бьет копытами, и я боюсь, что он вырвается от меня, а потому спешу вскарабкаться в седло, для чего мне приходится подвести его боком к плетню, найти такую приступочку в изгороди, чтоб немного подняться, иначе мне не закинуть ногу в стремя.

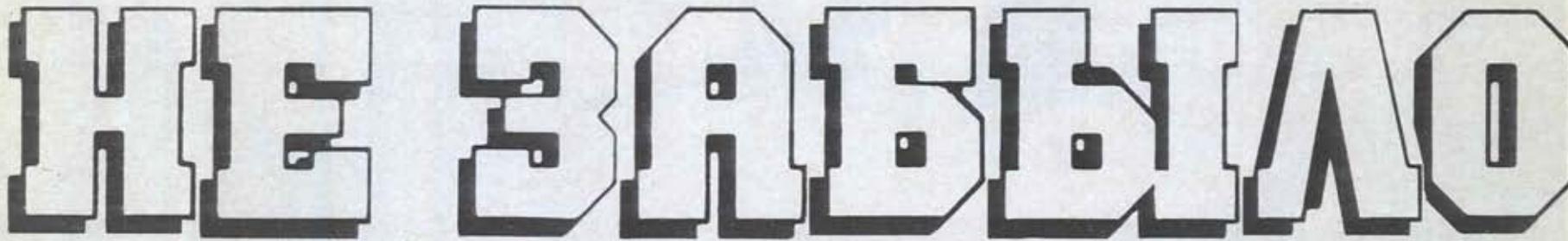
Но вот я снова на коне и продолжаю погоню... Справа на ремне в самодельной кобуре у меня деревянный «кольт». Я выхватываю его и стреляю вдогон убегающим по прерии индейцам... Это, конечно, Майн Рид и Фенимор Купер, которыми я зачитывался прошлую зиму, благо в библиотеке деда имеются полные собрания того и другого — бесплатные приложения к дореволюционному журналу «Нива».

Уж раз я упомянул «кольт», то придется коснуться еще одного незабываемого переживания. Иногда вечером отец дает мне в руки настоящий вороненый наган, уделив, разумеется, патроны из барабана. С замиранием сердца я беру его, любовно разглядываю, поглаживаю, потом с трудом нажимаю тугой спусковой крючок, гляжу, как барабан поворачивается на одну седьмую оборота, подставляет под боек курка темную глазницу своего гнезда, курок спускается, и раздается... увы, не выстрел, а лишь щелчок. На улицу наган мне выносить не разрешается, показать его кому-то из ребят я не могу, а потому наслаждаюсь в одиночку.

деревенскую красавицу Нюшку, в которую, дескать, оба влюблелись. После такого происшествия сынок начальника представлялся мне еще более необыкновенным.

Пионера мне давали не только для прогулок, но несколько раз посыпали и по делу с каким-нибудь письменным распоряжением. Два раза я ездил в деревню Замытье, за шесть километров. В эти поездки я хотя и брал «кольт», но не для игры, а для безопасности, так как выглядел он как настоящий и мог напугать тех, кто по той или иной причине мог помешать мне выполнить ответственное поручение. Правда, дорога в Замытье шла полями и прогляд был во все стороны, но полверсты приходилось ехать лесом, там я был начеку.

И еще огромной радостью было, когда отец брал меня за кучера в своих поездках в районный центр. От стройки он находился в семи километрах, и, значит, я правил Красоткой более часа. Запрягали ее в бывший, еще помещичий, тарантас на рессорах. Отец садился на заднее сиденье, обитое кожей, а я на облучке. Красотку не зря так называли, это была красавица лошадь темно-гнедой масти с черной гривой и хвостом, и прекрасно ходила быстрой рысью, почти никогда не переходя в галоп. Видно, была из рысаков, хотя вряд ли чистых кровей. Когда ею правил Степан, он очень горячился, если Красотка сбивалась с рыси, резко



в том, что время от времени, когда на Пионере никто долго не выезжал и жеребец застаивался, Степан торжественно водружал на него желтое седло, подтягивал стремена под мой рост и говорил своим хрипловатым от частых запивов и жестокого самосада голосом:

— Осторожней, малец, конь застоялся, как бы не понес поначалу...

Потом он помогал мне взобраться на жеребца, выводил из конюшни, отпускал узду, и Пионер с места рвал так, что я еле удерживался в седле, и галопом выносили меня за территорию стройки в... прерии. Да, да, именно в прерии, где, представляя себя ковбоем, совершал самые невообразимые подвиги — догонял воображаемых индейцев или уходил от погони...

Надо сказать, что, бегая весь день босиком, как все деревенские ребята, для выезда на Пионере я надевал настоящие сапоги, сшитые на мой размер, и со шпорами, не помню уж, откуда добытыми, а потому управлял я жеребцом по всем правилам, хотя делать это в первый час ездки было незачем — он нес меня галопом в собственную охотку, так что дай бог не выплететь из седла.

Однажды Пионер задал мне страху. Вернее, жеребец был ни при чем, виноватым оказался Степан, не затянувший как следует подругу. И вот на полном скаку, когда застоявшийся конь мчал меня по полю, иногда взбрыкивая от полноты жизни задними ногами, я почувствовал, что седло начинает сползать набок. Мои отчаянные «тпру» и натягивание изо всех сил повода ничего не дают. Пионер продолжает галоп, а может, и карьер во всю мощь своего молодого тела, требующего движения, а седло из-под меня катастрофически уходит и уходит... Стараюсь удержаться, охватив шею лошади, но у меня не хватает рук, уже понимаю неизбежность очень скорого падения и примеряюсь, как мне оттолкнуться головче, чтоб не попасть под копыта...

Но тут я вижу плетеную изгородь и направляю Пионера на нее. Я знаю, конечно, если жеребец не остановится, а с хода перемахнет невысокий плетень, я свалиюсь обязательно, но выхода нет. Я с ужасом гляжу, как стремительно приближается изгородь, а Пионер и не собирается сбавлять хода. Он решает другое: резко поворачивает и несется вдоль плетни. Я тяну повод влево, вижу, как удила режут его губы. Пионер хранил, закидывая голову, и наконец резко останавливается. Чуть-чуть не лечу через него, но каким-то чудом удерживаюсь, сплюзаю с коня, привязываю его к изгороди, стараюсь выпрямить седло и подтянуть подругу.

Кстати, у моего деревянного «кольта» барабан тоже поворачивается и тоже взводится курок. Отец долго мастерил его и по-инженерски точно воспроизвел конструкцию револьвера, но разве сравнить его с этим настоящим боевым наганом.

В те годы члены партии имели право ношения оружия, и у многих были или пистолеты, или револьверы, но моему отцу, беспартийному, выдали его здесь, на стройке, виду, как ему объяснили, обострения классовой борьбы в деревне и вероятной вылазки кулацких элементов. Поэтому я впервые в жизни держал в руках оружие, но и не мог и мечтать, чтоб отец дал мне револьвер в моих выездках Пионера, тут мне приходилось довольствоватьсь моим деревянным «кольтом».

Чтоб больше не говорить уже об оружии, придется рассказать одну «жуткую» историю, связанную с пистолетом. Недавно на стройку прислали начальника, так называемого «выдвиженца» из балтийских матросов. В середине лета приехал к нему двадцатилетний сын, высокий красивый парень. Он носил широкий черный костюм, что в моих глазах придавало ему некую загадочность. Я сам мечтал иметь Черный плащ и черную шляпу и, разумеется, шлагу, что шло уже от «Трех мушкетеров». Когда сынок начальника проходил по улице, деревенские девчата засматривались и перешептывались. Я с ним ни разу не разговаривал, но почему-то он казался мне очень интересной личностью. Видимо, он где-то учился и приехал к отцу на каникулы, и сразу завел дружбу с нашим механиком, командировавшим двумя движками внутреннего горения «Червонный прогресс», здоровенным детиной с мутноватыми наглыми глазами, любителем выпивки, который начал приобщать к этому занятию и сына начальника в надежде, наверно, через него заручиться расположением папации. И вот однажды ночью в деревне прогремел выстрел... На другой день выяснилось, что дружки поссорились по пьянке и сын начальника стрельнул из отцовского пистолета то ли случайно, то ли нарочно, но глаз у механика оказался выбитым.

Дело это замяли. Механик после недолгого лечения вернулся, но уже со стеклянным правым глазом, который, к его несчастью, служил точным барометром его состояния. Определить, пьян он или нет, не стоило никому труда — на фоне не замутненного стеклянного глаза здоровый сразу показывал степень опьянения.

Сын начальника вскоре исчез куда-то, уехал, наверно, в Москву, но в деревне долго еще ходили пересуды об этом событии, обрастили новыми подробностями, объясняли скорую дружков тем, что не поделили они

придерживал, приговаривая: «Не балуй, ми-и-ла-а-я...»

В путешествиях на плоскодонке я ощущал себя первоходцем, так увлекало меня открытие «новых земель», открывавшихся мне за каждым поворотом реки, а ходил я и вниз и вверх по течению на многие километры. И хотя река была не очень-то широка, на ней все же попадались «необитаемые острова», на которые я высаживался с трепетом настоящего путешественника.

Открыл я однажды в такой поездке «городище», старинные могильники, обложенные камнями. Долго бродил среди них, мечтая в следующий раз прибрать сюда с лопатой и заняться раскопками. Но какие-то другие занятия увлекли меня, и до конца лета я так и не успел побывать на «городище», тем более что находилось оно вверх по течению, в километрах семи-восьми от дома, а продвигать тяжелую лодку против течения, управляясь одним шестом, — труд нелегкий, итак мои руки все в мозолях. Вот и не собрался на могильники, хотя и мечтал найти при раскопках мечи, стрелы, щиты, а может, и колья.

Надо сказать, что в эти поездки на лодке я редко брал деревенских ребяташек, свой болтовней мешали они мне воображать, а вся прелест походов как раз и заключалась в том, что плыл я не по речушке Медведице, а конечно, по Амазонке, плывущие на встречу коряги и бревна — это, разумеется, крокодилы и змеи. В прибрежных кустах таились индейцы с луками, подстерегая храброго бледнолицего, рискувшего вторгнуться в их земли, ну и так далее и тому подобное... О, детство! Хотя уже вроде отрочество, но все равно в жизнь реальную вплетались фантазии, почерпнутые из приключенческих книг и некоторых фильмов. Один из них помнился мне в ту пору. Фильм американский, эффектно начинаящийся сценой пожара небоскреба, где на огромной высоте металась между двумя окнами женщина. Лестница, выдвинутая пожарными, не доставала до нее на два-три этажа. Оттолкнувшись от пожарных, появился какой-то супермен, быстро поднялся по лестнице, вытянул руки, и... женщина прыгнула, попав, конечно, к нему в объятия. Лестница покачнулась, стала падать, и эта пара влетела в окно дома напротив, причем сразу же в кровать. Потом женщина уехала в экспедицию в Африку, супермен за ней, и здесь начались всевозможные душераздирающие приключения — и пожар в джунглях, и единоборство с львицей, и плен у какой-то экзотической царицы в прозрачной одежде, и... чего там только не было. Помню, ушел я из кинотеатра «Перекоп», что в Грохольском, потрясенный и с ужасной головной

болью. Видать, для меня, семилетнего, такая картина оказалась чересчур...

Но когда я начал читать Купера и Рида, то эти детские киношные впечатления затмились, я начал бредить майн-ридовским «Белым воином» с замечательным героем и героиней, где была и месть «белого воиня», приведшего в поселок индейцев, чтобы наказать тех, кто поступил плохо с девушкой и с ее матерью, а самым захватывающим был побег героя из тюрьмы, когда он подозревал свистом своего коня и выскочил из окна прямо в седло, и умный конь умчал его от врагов...

В деревне я не первый год. До этой стройки отец проводил мост через реку Беспуту, недалеко от Каширы. Тогда, в двадцать девятом году, я был еще маленький, к тому же после болезни (что-то с железками, как говорила мать) целую зиму температурил, был нервен и капризен. Уже в дороге на Каширу меня напугали в вагоне поезда разговоры деревенских женщин о какой-то огромной, высокого роста бабе, шестввшей по полям с пустым мешком. Ужо наверняка к большому голоду, говорили бабы, который беспременно наступит в ближайшие годы. Я слушал и представлял себе эту страшную бабу с мешком, которая обязательно встретится мне где-нибудь, и я уже заранее боялся ее.

В Кашире нас встретил отец на извозчике, на кото-

ром мы и направились в село Богословское, где должны были жить, в полутора километрах от реки, а тем самым и от стройки. Проезжая город, мы наткнулись на похоронную процессию, гроб несли открытым, и я впервые в жизни увидел покойника, старуху с желтым лицом, и меня это так потрясло, что я закрыл глаза, чтоб не видеть этого, но когда их открыл, то увидел в окне второго этажа дома, который мы проезжали, страшное лицо старухи с выпученными глазами... Тут уж я совсем съежился, прижался к матери; но это не был конец моим переживаниям, потому что вскоре мы проехали мимо огромного кургана, показавшегося мне громадным и страшным. Вспомнилась «Страшная месть» Гоголя, и я уже не глядел ни на дорогу, ни на поля, боясь увидеть ту бабу, о которой так взволнованно шептались крестьянки в вагоне.

Первые два дня я боялся далеко отходить от дома, но вскоре этот страх прошел, и я уже бегал и на стройку, и по окрестностям деревни, научился ездить через раму на взрослом казенном велосипеде, на котором гонял по аллейкам бывшего барского парка. Часто проезжал я и мимо небольшой церкви, на которую поглядывал с любопытством, так как никогда там еще не был. На пасхальную заутреню, на которую ходили родители, меня не брали по малости лет. Родители не были религиозны и ходили в храм только на пасху, что было скорее данью традициям и приятным, наверно, воспоминанием детства и юности. Правда, в доме были Евангелие и Библия, кое-что мать мне читала, знал я и молитву «Отче наш...». Однако в самой церкви, повторяю, ни разу не был, и первое мое знакомство с нею произошло здесь, в селе Богословском, когда приехала из Калуги моя бабушка, мать моей матери.

Бабушка была верующей, но не церковницей, то есть не очень-то часто ходила в церковь, не так уж чтила обряды. Кроме того, после разлада семейной жизни и развода с дедом, что в дореволюционные времена было сложно, увлеклась она толстовством, что не помешало ей отправиться на германскую войну уж не

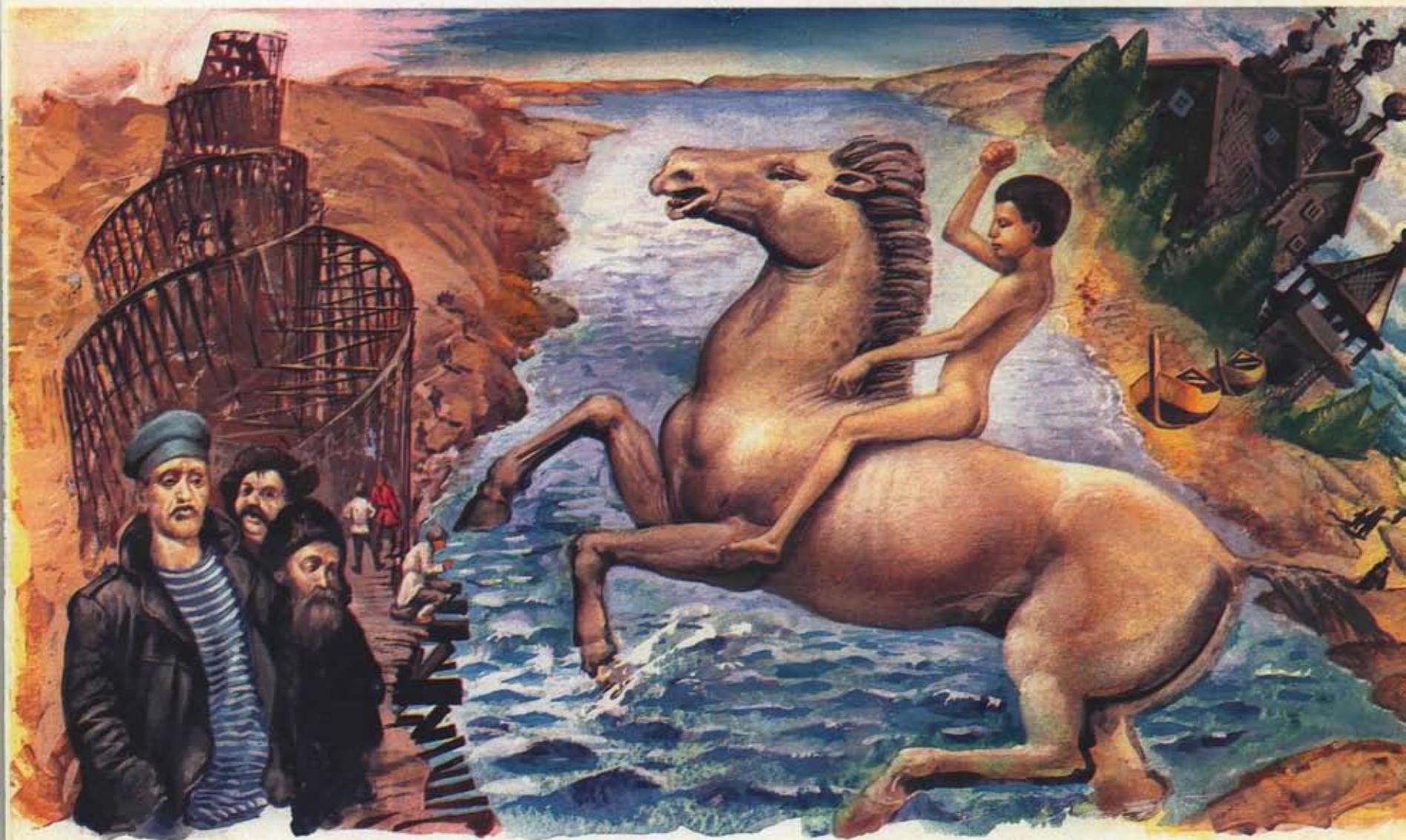
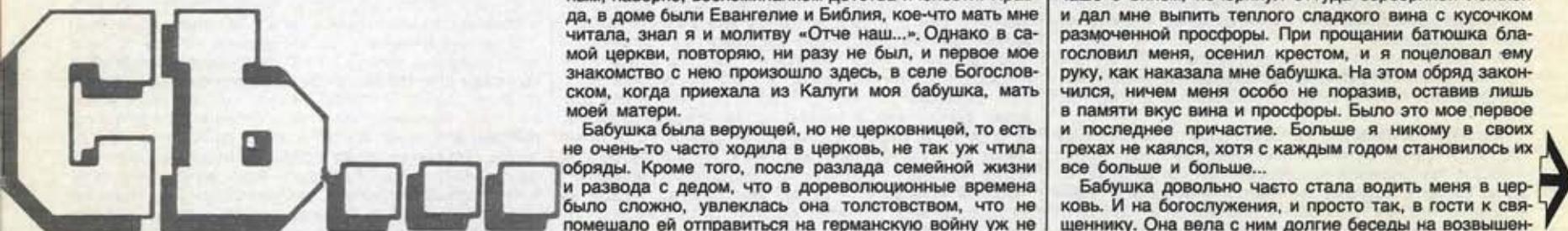
знаю, кем, но до фронта она не добралась, заболев по дороге.

Помню, в Калуге, в ее светелке над кроватью висели всевозможные изречения разных мудрецов, из которых запомнился бодрый призыв: «Проще, легче, веселей!», который, как она уверяла, всегда помогал ей в ее трудной и необеспеченной жизни.

Дня через два после приезда она познакомилась с батюшкой и восхищенно рассказывала матери, какой прелестный и интеллигентный человек настоятель Богословской церкви. Потом она заявила, что мне необходимо принять первое причастие, я ведь крещеный, что это благотворно отразится на мальчике. Мать вроде не очень возражала, и бабушка повела меня в церковь пока лишь познакомиться с батюшкой. Он мне понравился тем, что не стал уверять меня, что гвозди, которыми распинали Христа, настоящие, сказав, что это копии тех гвоздей. Церковь произвела огромное впечатление — и старинные иконы, и золоченные царские врата, и богатое убранство.

Вскоре после знакомства произошло и причастие. На исповеди батюшка спрашивал меня, хорошо ли я отношусь к животным, не мучаю ли их, не отрываю ли бабочкам крылья, почтлю ли родителей... Я в этих грехах оказался безвинен, мать и отца любил, животных тоже, после чего священник велел мне поцеловать крест с распятием, Евангелие; подвел к святой чаше с вином, почерпнул оттуда серебряной ложкой и дал мне выпить теплого сладкого вина с кусочком размоченной просфоры. При прощании батюшка благословил меня, осенил крестом, и я поцеловал ему руку, как наказала мне бабушка. На этом обряд закончился, ничем меня особо не поразив, оставил лишь в памяти вкус вина и просфоры. Было это мое первое и последнее причастие. Больше я никому в своих грехах не каялся, хотя с каждым годом становилось их все больше и больше...

Бабушка довольно часто стала водить меня в церковь. И на богослужения, и просто так, в гости к священнику. Она вела с ним долгие беседы на возвышен-



ные темы, во время которых я безумно скучал, стараясь под всяческими предлогами удрать хотя бы на церковный двор, где можно было хоть развлечься чтением разных эпиграфий на надгробных плитах.

«Пробыв у нас три недели, бабушка уехала в свою Калугу, и с тех пор в церковь я не заглядывал, пока не пошли по селу слухи, что ее закрывают. Как это могут закрыть церковь, храм Божий, я не понимал. Хозяйка дома, где мы жили, говорила, что прихожане послали куда-то прошение, чтоб церковь оставили, потому что в ближайшей округе церквей не было и молиться верующим негде, и все надеются, что прошение удовлетворят, все-таки всем миром просят. Но есть в селе мужики, добавила она с горечью, которым что церковь, что кабак — одно и то же, кабак им даже спащие... Меня беспокоило больше не само закрытие храма, а куда денут священника, и я спросил хозяйку об этом.

— Куда денут? Говорят, что высылают теперь их, а может, в другом месте приход дадут. Кто знает? В такое время живем, что ничего не знаем, что дальше будет. Вот колхозы, говорят, зачнут делать, а что они такое — тоже никто не ведает.

Проходило время, я на велосипеде мимо церкви часто проезжал, стояла она на месте, и священника в огороде я видел, но остановиться, зайти стеснялся, тем более что после отъезда бабушки ни разу не заглядывал, а священник приглашал, и я обещался бывать.

Но вот в одно утро услышал я от хозяйки, что уезжает священник, и тут почему-то я взволновался и бросился бегом к церкви. Около нарядного и обиженного домика священника стояла подвода. Батюшка и матушка укладывали вещи, довольно скучный скарб, не занявший всю телегу. Может, мебель они будут вывозить потом, подумал я, удивившись малости их имущества. Священник, заметив меня, поманил рукой. Я подошел.

— Проститься пришел? — спросил он. — Похвально, что помнишь. Вот приходится покидать родимое гнездо. Двадцать лет я служил в этом храме. И вот покидаю...

Матушка всхлипнула от этих слов, у меня тоже подерпли слезы. Мужик, хозяин подводы, стоял молча и вроде бы безразлично, только смолил цигарку, от дыма которой матушка суетливо отмахивалась. Меня поразило, что никто, ни один из прихожан не провожает священника, и от этого мне стало его еще жальче. Я ничего не понимал умом, но сердцем чувствовал, совершаясь какая-то большая несправедливость, с которой, наверно, впервые столкнула меня жизнь.

Небо тем временем зловеще затягивалось тучами, и я стал ожидать, что грянет сейчас гром, и Бог покарает кого-то за эту творимую несправедливость... Но ни грома, ни еще чего-то, что должно было бы случиться по моему разумению, не произошло.

Батюшка с матушкой встали на колени, помолились и потом еще долго кланялись родному храму. Тут я не выдержал, и слезы покатились из глаз. Священник подошел, погладил по голове, перекрестил...

— Ну, прощай, мальчик. Постарайся быть хорошим.

— Поехали, что ли? — грубым голосом сказал возчик, выплюнув цигарку и взяв вожжи.

— Поехали, — еле слышно ответил священник, и подвода тронулась.

Я пошел провожать, глядя все на небо и ожидая какой-то реакции со стороны Господа Бога, но тучки начинали рассеиваться, глянуло солнышко, и я понял, что ничего, ничего не случится.

— А куда вас, батюшка? — наконец-то догадался спросить я.

— Дают мне небольшой приход в верстах двадцати отсюда.

— Значит, вас не высыпают?

— Господь миловал... Пока...

Я очень обрадовался за них и уже с немногим облегченным сердцем распростился с ними у реки. Но какая-то зарубина еще долго оставалась в моей душе. Рухнула, наверно, существовавшая до этого детская вера в справедливость мира, в котором живу восемь лет...

Но ко времени, о котором веду сейчас рассказ, все это забылось, прошло же три года, а в таком возрасте все неприятное забывается быстро, тем более каждый день приносит новые впечатления.

В выходной день к нашему дому Степан подает тарантас, запряженный Красоткой. Ура, мы едем в какую-то далекую деревню за... сыром! Вот уж не знал, что сыры делаются в деревне. В московских магазинах их давно нет, и моя мать здесь, в деревне, пользуясь чьим-то рецептом, сыр делает сама из творога. Для этого творог, размельченный, раскладывается на доске на несколько дней, пока не протухнет и не превратится в противно пахнущую желтоватую массу, а потом эта тюра варится на медленном огне, выливается на противень, а когда застынет, режется на куски и получается... сыр. И довольно вкусный, по кондиции напоминающий плавленый. А сегодня мы едем за настоящим сыром! Но радость не в этом.

Я опять буду править Красоткой! Деревня, как сказал отец, в верстах двенадцати от нашей, носящей, кстати, не очень-то благозвучное название Кобылино. «Эх, Кобылино деревня, крыши, крыши, как колпак...» — поют вечерами частушки деревенские под гармошку. Выходит, полдня я буду за кучера!

Важно беру вожжи. Усаживается отец, потом мать. Степан, когда бывает в подпитии, вместо обычного «но-о», трогает с места лошадь криком «Алле-пре, Красотка!» Я, конечно, обезьянчица и кричу то же самое. Красотка резво берет с места, и мы едем. В деревне, в которую мы приехали, действительно варили сыры искони. В сарае, куда нас позвали, висели головки сыра. Мать выбрали две или три, и мы поехали обратно. Высадив родителей у дома, я с шиком прокатил по деревне хорошей рывью, но к конюшне не подъехал шагом — Степан не любил, когда я зря гоняю коня. Красотку я запрягал и распрыгал сам, быстро овладев этим делом. Поставив ее в стойло, я стал развесивать упряжь. Степан сидел в конюшне с каким-то немолодым неказистым мужичком. На полу стояла бутылка водки, в руках стаканы и закуска — черный, круто посоленный хлеб и репчатый лук. Степан проследил глазами за моими действиями и, убедившись, что все в порядке, продолжил разговор:

— Ты спрашиваешь, почему я в колхоз не пошел? Не верю я в эту затею. А потом же я сразу не крестьянствовал, я и до революции, и в эпоху извоза занимался, люблю лошадок. Были свои, а теперь вот казенными занимаюсь.

— А баба твоя как?

— Она в колхозе мается. Я свободу люблю, раньше сам себе хозяином был, ну и теперь здесь надо мнить начальников особо нет. Кто тут в конях понимает? Никто. Значит, Степан за главного. Все видят, что у меня двор конный в порядке. Ежели кормов не хватает, так я и сворую сенца для своих лошадок, возьму грех на душу, лишь бы животная голодной не осталась... Степан завернул цигарку, закурил. — А колхоз что? Ты там вроде батрака государственного. Вот приказали лен сеять, и сеют, и сеют, а лен для земли тяжел, нельзя несколько лет кряду его сажать, истощится землица, а они давай, давай. А ты и не пинки. Кто ты теперь? Колхозник. Ну и трактор для наших земель — машина неподходящая, развернется глубокой вспашкой, а толку? Нет, я здесь хоть и на государственной службе, но сам себе голова... Ты ведь, наверно, тоже из колхоза убег?

— Убег... Голодуха у нас. Я же с Черниговщины.

— Она и будет, голодуха, ежели без ума все делаются. Знаешь же, как загоняли? Приедет уполномоченный: «Советская власть за колхозы, значит, кто против колхозов, тот против власти». Ну, а кто против власти, сам знаешь, что бывает. Вот и стали записываться...

Тут я прервал их разговор, сказав, что все сделал, хочу домой идти.

— Вижу, — сказал Степан. — Добре. Иди. Ну как сырок наш?

— Не пробовал еще...

— А ты пробуй, а то скоро, смыкая я, это сыропарение накроют. А они там, поди, пятьдесят лет этим занимаются: так нет, кому-то это не приглянулось. По приказу крестьянствовать нельзя, — повернулся к седу. — Пустое дело...

В воскресенье хозяйка наша Ефимия Михайловна пекла ржаные лепешки вроде ватрушек, только вместо творога запекалась мята картошка. Вкуснее ничего я с той поры не едал и ждал воскресенья всегда с нетерпением. Приносила она нам эти лепешки на подносе горячими, прямо из печки. От одного запаха с ума можно было сойти...

Принося лепешки, по приглашению матери она саживалась ненадолго и угощалась чаем, который у нас заваривался крепко, а с чаем в деревне было неважно — и бывал редко, и дорог был. Ефимия Михайловна держала себя с прирожденным достоинством, да и вообще была женщиной умной и интеллигентной, как говорила мать, хотя и не в ладах с грамотой. Жила она с сыном Иваном, тихим, трудолюбивым парнем лет двадцати, работающим трактористом. О муже никогда не говорила, погиб он, видно, на гражданской, но, судя по большому дому на две половины, одну из которых мы и снимали, жили они до революции неплохо, крьт дом был железом. В деревне не всегда три дома таких стояло, остальные все драной крыты. В колхоз они вступили охотно, так как землицы на двоих отпущено было немного.

Степан, часто заходящий к нам, при встречах с Ефимией Михайловной, как правило, начинал с нее играющий разговор, вроде того, что бросит он свою старуху, уж больно глупа и сварлива, ему бы под стать вот такая рассудительная и умная женщина, как Ефимия Михайловна.

— Пустой ты мужик, Степан Васильевич, язык у тебя без костей, балабонишь разные глупости, — отвечала она на это.

— Какие глупости? Я со всей сурьезностью, Ефимия. Можно сказать, всю жизнь мечтал умную бабу найти, да вот не повезло.

— И не повезет. Для этого самому ума надо иметь, — улыбалась она.

— А я разве без ума? На мне, поди, вся стройка держится. Спроси хоть Алексея, жильца твоего. Он скажет, без степановых лошадок, которые и напоены и сыты, ни лесу не привезти, ни камня. Один же у нас автомобиль, и тот в ремонте больше, да на нем по нашим дорожкам и не проедешь, а лошадка, она везде пройдет... Вот так, Ефимья, а ты — ума во мне мало. Ошибочка выходит. Ты, милая, ко мне присмотрись получше. Я мужик еще в силе. Пятьдесят годков, а седины-то нет. Ни в бороде, ни на голове. Подумай.

— Да чего тут думать? Старые мы уже, Степан Васильевич. Людей только смешить.

— Старый конь борозды не портит, — смеялся Степан, обнажая ряд белых крепких зубов.

— Знаем мы эту присказку... Похвались в тебе, Степан, много.

— При чем похвалиба. Мы родим еще с тобой.

— Как раз в этакое время рожать. Умнее ничего не надумал?

Вот такие приблизительно разговоры с небольшими вариациями слышал я постоянно при встречах Степана с нашей хозяйкой.

Иногда Ефимия Михайловна приносила лепешки и без картошки, но такие же вкусные. Вообще в деревне не еда была обильнее, чем в Москве, где продукты были по карточкам, да и на них, кроме хлеба, почти ничего не давали, а если и давали, то стояли огромные очереди. Вместо мяса выдавались или бычьи семеники, или синеватого оттенка кролики, которых в народе называли «сталинскими быками»... В деревне же имелося молоко, яйца, на рынке в районном центре можно было купить и мясо, и сливочное масло. Стоило это недешево, но помню, что покупалось понемногу того и другого. Кстати, отец часто говорил матери, что хоть и изматывает его стройка, но все же здесь мы сыты...

Моих сверстников в нашей деревне почему-то было мало. Наверно, потому, что в девятнадцатый и двадцатый годы шла гражданская и мужики воевали. Немного было ребят и старше меня, тут мировая война виновата, зато мелюзги — хоть отбавляй. Она-то и сопровождала меня всюду — и на речку, и в лес по грибы... На речке, кроме купания и плаванья, было еще одно развлечение. Имелась у меня игрушечная яхта, очень хорошо сделанная, как настоящая — с тяжелым килем, рулем, двумя парусами и всеми принадлежностями. На этой яхте можно было совершать разные маневры, которые я узнал из книги «Парусный спорт», только не ходила она у меня против ветра, что должна делать настоящая яхта. Тут, правда, мешало течение. Но когда шла она, накренившись, с надутыми парусами, разрезая носом воду, вызывая восторг окружающей меня ребятни, глядеть на это было любо-дорого. Мечтал я, вот вырасту и займусь парусным спортом на настоящей яхте на Москве-реке, буду поражать мастерством знакомых девчонок; но, увы, этим мечтам, как и многим другим, кстати, не суждено было сбыться. Не в то мы родились времена...

В один из прохладных дней, когда на речке делать было нечего, болтался я, разумеется, на стройке. Побывал на конюшне у Степана, где угостили Пионера и Красотку хлебом, поглядел на пильщиков, на их тяжелую, но красивую работу, посидел около движка с одноглазым теперь механиком. Давно мне хотелось спросить его, из револьвера или пистолета его ранило, но не решался, не решился и сегодня — вопрос-то слишком деликатный. Потом прошел к конторе... И тут я впервые в жизни услышал, как у отца, распекавшего кого-то, вырвалось матерное слово! И слово-то почти литературное, встречавшееся в некоторых изданиях у Пушкина, но я был поражен и подавлен. И не потому, конечно, что не слыхал этих слов никогда. Слыхал... И похабные частушки на вечерних гулянках, и мальчишки деревенские щеголяли порой матерными словечками, и у Степана порой вырывалось при мне ругательство, но сегодня услышал я такое от отца. И что же во мне перевернулось. Как он может? Значит, он такой же, как и все? Отец, разумеется, меня не видел, когда сказал такое, но все равно...

Как убитый, понуро поплелся я от конторы, раздумывая, не поделиться ли этим с матерью? Может, она скажет отцу как-то осторожно, какое впечатление произвело это на меня, что как-то упал отец в моих глазах...

Домой я пришел мрачный, мать стала допытываться, в чем дело, но уже по дороге я решил матери не говорить, незачем ей знать о таком. Когда отец пришел на обед, то я не мог глядеть на него, мне было стыдно. Но он ничего не заметил, по своему обыкновению. Тонкостью чувств, как часто твердила мать, он не обладал. Да и некогда ему было разбираться в настроениях близких; обедал всегда торопясь, почти не разговаривая с нами. Единственное, что он себе позволял, — это выкурить неспешно послеобеденную папироску. Папиросы он курил хорошие, каких в продаже давно не было. Его тетка, старая большевичка, давала ему, когда он приезжал в Москву, свой пропуск в закрытый распределитель, называвшийся почему-то Гортом, то есть просто «городской торговлей», и там

много было без отрыва карточных талонов купить сколько хощь папирос и конфет. Так вот, вытаскивал он из портсигара толстую папиросину «Дели» и позволял себе ее выкуриить в собственное удовольствие. Уходя, он бросил мне, что на неделе мы съездим с ним на Красотку в одну деревню, верст за десять, по делу. Увы, даже это не очень обрадовало меня, так подействовал случай у коптора.

Но дни шли, неприятный осадок от услышанного мало-помалу растворялся, и опять я шатался по стройке. От конюшни к камнерезам, от них к пильщикам, но вот вижу — на взмыленной лошади, запряженной в двухколесные дрожки, вроде беговых, влетел на стройку краснолицый человек в военном френче, хромовых сапожках, остановил резко разгоряченную лошадь, выскошил и громогласно спросил работавших:

— Где тут у вас коптора?

Ему показали на копторский домик, и он широкими шагами направился туда.

— Из РИКА, видать, — заметил кто-то.

— Да, начальник какой-то...

— Это вроде сам предрика, — определил одноглазый механик. — Небось «сигнал» получил.

Надо сказать, что «сигналы» со стройки шло много, и приезды разных начальников и проверяющих были нередки. После чего отец долго ходил нахмуренный, злой. Он-то эти «сигналы» называл доносами.

Я, конечно, ноги в руки и к копторе, вслед за предрика. Догнал я его у двери, когда он, растрогив ее настежь, входил в коптор. Отец стоял у модели моста, которую делал сам всю зиму, заполняя нашу пятнадцатиметровую комнату деревянными стружками каждый вечер, и что-то объяснял двум плотникам.

— Ну, инженер, расскаживай, что тут у вас случилось? — спросил грубо краснолицый.

Отец поднял голову, посмотрел на предрика, узнал его, видимо, и спокойно сказал:

— Здравствуйте, во-вторых. А во-вторых, не помню что-то, чтоб мы с вами на брудершафт пили, ну, а в-третьих, вы мою фамилию должны знать, — и повернулся к плотникам, сказав им, продолжая прерванный разговор, что эту сложную врубку без него пусть не делают, он придет и покажет.

— Мне, инженер, не до церемоний, авария у вас, опора развалилась, а вы тут разговоры разговариваете.

— Какая опора? По счету?

— Какая по счету, не знаю.

— Так пойдите и посмотрите, — спокойно ответил отец и нагнулся над чертежом. — Иван Дорофеевич, проводите, пожалуйста, товарища на мост, — сказал отец пожилому бородатому плотнику.

Предрика и плотник вышли из коптора, а я за ними. По дороге я слышал, как плотник сказал:

— Вы бы, дорогой товарищ, меньше бы всякой слухи слушали, лучше бы с цементом да с лесом помогли.

Тот повернулся к плотнику резко.

— Значит, в порядке опоры?

— Конечно. Кто такую глупость сказать мог. Инженер наш хоть и беспартийный, но за дело болеет, бьется как рыба об лед, а тут всякие сигналы, один за другим...

— А что бывших кулаков на стройку берет, разве неверно? — буркнул предрика.

— Каких кулаков? Тоже брехня.

Вышли к мосту, предрика кинул взгляд на две ближние береговые опоры, покачал головой, выругался и направился к своим дрожкам.

Я смотрел вслед предрику РИКА, бросившему свою лошадь с места в галоп, и всплыли в памяти редкие высказывания отца о своей работе, которыми он делился с матерью. Однажды сказал он, что эта стройка будет стоить ему многих лет жизни, что если бы он не сам проектировал этот мост, то вряд ли согласился его строить; в другой раз говорил о том, что страшно мешают разные кляузы и доносы, которые сразу принимаются на веру в райкоме и райисполкоме, так как он инженер еще дореволюционного выпуска, а значит, потенциальный «вредитель», что одна его путейская фуражка сразу вызывает недоверие и отчужденность. Но очень редко были такие разговоры; со стройки отец приходил глубоким вечером, ужинал и ложился спать, рано утром уходил, когда ему было разговаривать.

Но вот в одно утро, за завтраком, отец сказал мне, что я сказал Степану запрячи Красотку к одиннадцати часам, и мы поедем в деревню, о которой он говорил. В десять я был уже в конюшне и сам запрягал Красотку, Степан только проверил затяжку хомута, пробурчал «доброе», а к одиннадцати я подал тарантас к копторе.

Через реку переправились мы у деревни Городок, где стоял временный деревянный мостик, сносимый ежегодно весенним паводком, миновали деревню и свернули вправо на грунтовую российскую дорожку, по которой ездить хорошо только в летнюю пору. Кое-где пускал я Красотку хорошей рысью, но большую часть дороги шла она трусцой, а то и шагом. Старый тарантас, хоть и на рессорах, так скрипел на ухабах,

что, боялись мы, вот-вот развалится он на ходу, а потому отец придерживал мою прыть: — «Не гони, сынок, не гони...»

В проезжающих деревнях на наш начальственный тарантас опасливо косились, а когда мы останавливались, чтобы спросить дорогу на Алешино, куда нам было надо, отвечали как-то неохотно, а один старик полубытковал, а зачем нам туда? Отец сказал, что по делу.

— А по какому делу, ежели не секрет?

Отец коротко ответил, что стройке предложили купить там дом на вывоз. Старик почесал в затылке и задумчиво пробормотал:

— Чей же это дом-то? Вроде там пустых изб нет, там вроде никого не кулачили... Неужто Ефимку Борзова надумали?.. Больше некого. Вот беда-то...

Отец пропустил, как мне показалось, эти слова мимо, скомандовал мне «трогай», и мы поехали дальше. Версты через три на взгорке показалось Алешино, издали очень живописное и зеленое. И правда, когда въехали на горку, то окружили нас со всех сторон могучие липы, дававшие и тени, и уют этой небольшой деревеньке. Остановились мы в середине селения, около стоявшего на дороге бритого мужичка в кепочке. Рядом играла во что-то деревенская ребятня.

Отец спросил, где найти председателя колхоза.

— Я есть председатель, — подошел бритый, пахнув перегаром. — По какому делу прибыли?

Отец сказал, и тут я увидел, как подошедший вместе с председателем мальчик лет восьми-девяти, очень по-взрослому и озабоченно глядевший на нас, то есть больше на моего отца, сразу припустился бегом после ответа.

— Езжайте, я покажу дом, — сказал председатель и пошел впереди лошади.

Не больше ста метров мы проехали, как услышали какой-то вой, а подъехавши поближе, определили, что вой идет из стоявшего неподалеку дома, и чем ближе мы к нему подъезжали, тем сильнее и надрывнее этот вой был слышен. Отец недоуменно пожал плечами.

— Вот эта изба, — остановился председатель, указавши рукой на дом, в котором после этого жеставой усилился.

Здесь увидел я, что из каждого оконца дома глядела ребячья лица с расширенными глазами и открытыми ртами. Они-то и выли. А из одного окна глядела старуха, сверля ненавидящими глазами всех нас — и председателя, и моего отца, и Красотку, и тарантас. Из дома вышел мужчина с черной бородой в неподплотсанной рубашке и молча уставился на нас мрачным взглядом.

— Так здесь же живут? — удивился отец.

— Выселяем мы их, — небрежно и равнодушно бросил председатель, сплюнув. — Хватит. Попили нашей кровушки.

— Это вашей-то? — холодно спросил отец, сдвинув брови.

— Ну, не моей, так чьей-нибудь... Мое-то дело какое? Приказали, разнарядку из РИКА прислали на докулиивание, — добавил он, почувствовав неодобрительный тон отца. — Может, и зря, но не нашего ума дело.

Они еще о чем-то говорили, но я уже не слышал, я смотрел на этот дом, в ушах моих стоял вой, то утихающий, то усиливающийся, и резал душу... Из избы выскошила женщина с заплаканным лицом и хотела было броситься к нам, но мужчина грубо остановил ее, схватил за руку, а потом что-то сказал ей отрывисто и оттолкнул. Она бросилась обратно в дом, и я видел, как металась она у окон, оттаскивая от них детей. Вой утих, окошки стали пустыми, только из крайнего окна так же ненавидящие глядела старуха. Губы ее шевелились, и непонятно было, молилась ли она, или послала нам проклятия. К моему горлу подкатывал комок, к глазам — слезы, я не выдержал, громко всхлипнул и, повернувшись к отцу, почти крикнул:

— Поедем, папа, поедем!..

— Да, поворачивай.

Я тронул вожжи и развернул Красотку. Председатель криво усмехнулся.

— Отказываешься, значит, начальник? Зря, дом справный... Тоже мне, мальчишку послушал.

Отец хлестнул лошадь, Красотку, не привыкшая к кнуту, рванула тарантас. Повернувшись назад, я видел, как председатель с презрительной ухмылкой глядел нам вслед — пожалели, дескать, городские... Так же вслед нам смотрели мужик в неподплотсанной рубашке, его жена и высыпавшие из избы ребята. Было их много, человек шесть или семь чумазых, заплаканных, кое-как одетых...

Когда спустились с взгорка, отец взял вожжи и перетащил меня на заднее сиденье, обняв одной рукой. Я прижался к нему и заревел уже по-настоящему. Он ничего не говорил, только прижал меня крепче к себе... Отъехав от Алешина с версту, отец сказал:

— Откуда я мог знать? Мне не сказали... Ладно, забудь об этом.

Но забыть мне это не удалось. Помню все и по сию пору...

Оторванный от неба и земли,  
С издерганный, измученной душой  
Стал, как призрак в солнечной пыли,  
Над малой родиной и над большою.

Мне б от обиды крикнуть в небеса!  
Но голос мой уже настолько  
далний,  
Что различны больше голоса  
Пустых надежд, напрасных  
ожиданий.

Мне бы упасть,  
лицом к земле припасть!  
И захлебнуться бы слезою душной,  
Но надо мною беспредельна власть  
Всевобщего молчания, равнодушия.

И у кого мне с ужасом спросить  
О том, как стал я холоден к народу.  
И через сколько пропустили сия  
Мою необозримую свободу?

Мне бы спросить об этом у небес,  
Но небеса унижены и смяты,  
И вместо грома вздесущий бес  
Устроил барабанные раскаты.

Мне бы спросить об этом у земли,  
Но мечется земля, твердит землица  
Одно и то же: «Как же вы могли!»  
А что «могли»,  
сказать, как мать, стыдится.

Ухожу от суетливой славы,  
Но не ухожу от суеты.  
Есть перо, и есть святые, право,  
Чистые бумажные листы.  
Быть постыдно прятать во языцах,  
Жизнь свою прожить навеселе  
И не видеть на крестьянских лицах  
Равнодушья к хлебу и земле!  
Не грехно ли в славе забываться,  
Кутаться в эстетский пулlover,  
Если стали мы  
в душе стесняться

Званий:  
воспитатель, инженер?!

Не грехно ли возвышаться гордо  
Над «толпой»,  
глаголить в кураже,  
Если в государстве дел по горло  
Непростых на трудном вираже?  
Ты — поэт!

И есть святые, право,  
Чистые бумажные листы.  
Уходи от суетливой славы,  
Но не уходи от суеты.

Покорившись судьбе, жили двое.  
По утрам на работу бежали.  
И меняли в квартире обон.  
Над хрустальным сервисом дрожали.

Ненавидя друг друга, играли  
На виду золотую семью.  
Ну, а сами тихом коворовали  
Друг у друга надежду свою.

И, затянуты долгой игрою,  
Всюду рядышком, всюду вдвоем!  
«Как живете?» — их спросят порою.  
«Хорошо, — отвечают, — живем».

В сложном, противоречивом  
Веке  
попривыкли мы  
легкой музыкой и чтивом  
ублажать свои умы.  
И, расслабленно глазея  
в телевизор (вот наркоз!),  
Подпеваем ротозеям:  
«Миллионы алых роз!»  
И, от музыки балдея,  
Забываем обо всем,  
О планете.

А над нею  
Меч смертельный занесен.  
Лишь в ночи, во тьме незрячей,  
Прикрываясь жуткой тьмой,  
Заповет душа, заплачет:  
«Черный ворон, я не твой...»

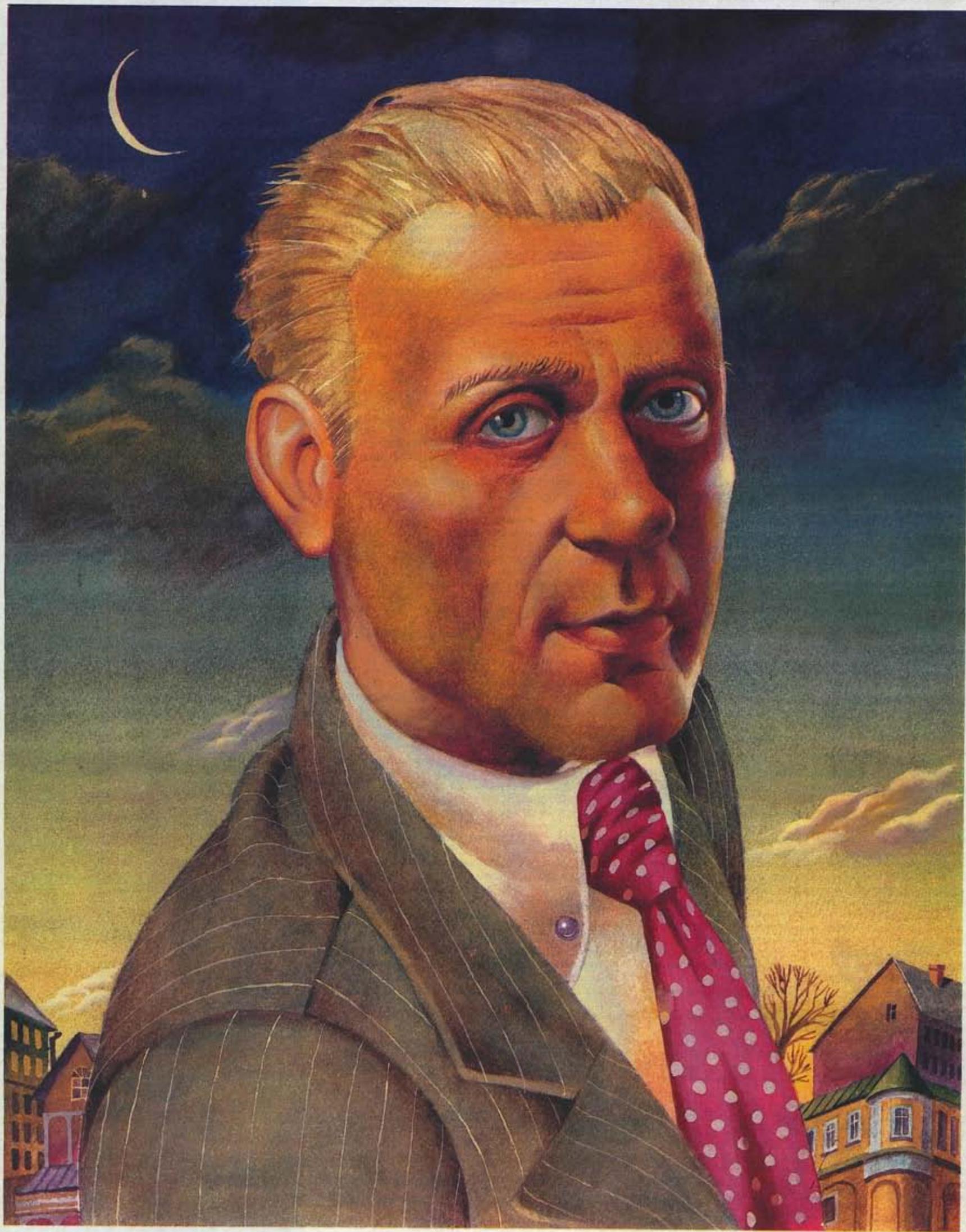


Рисунок Алексея ОСТРОМЕНЦКОГО

# БУЛГАКОВ

Владимир  
ЛАКШИН

Булгакова стали вспоминать с опозданием: спустя 25 лет после его смерти. На нашей памяти лицо его, постепенно высвечиваясь, проступало из густой тени.

Хорошо помню время моего студенчества, пришедшееся на начало пятидесятых годов, когда за Булгаковым была стойкая репутация «забытого писателя» и, произнося его имя, даже в среде филологов приходилось долго растолковывать, что кроме «Дней Турбин» («а-а, «Турбины»... — слабый след воспоминания на лице) этот автор сочинил немало драм и комедий да еще писал и прозу. И вдруг за какие-нибудь пять — семь лет возник «феномен Булгакова».

В 1962 году вышла написанная им тридцатью годами раньше биография Мольера.

В 1963-м — «Записки юного врача». В 1965-м — сборник «Драмы и комедии» и «Театральный роман».

В 1966-м — том «Избранной прозы» с «Белой гвардией».

В 1966—1967 годах — «Мастер и Маргарита».

Его известность нарастала как шквал, из литературной среды перешла в широкую среду читателей, переключистна отечественные границы и могучей волной пошла по другим странам и континентам.

Восстановление забытых имен — естественный процесс обогащающейся наследием культуры. Но то, что случилось с Булгаковым, не имело, пожалуй, у нас прямой аналогии. Им зачитывались студенты и пенсионеры, его цитировали школьники; кот Бегемот, Воланд, Азазель и Маргарита переходили в бытовой фольклор. Дольше других медлили с признанием Булгакова критики и профессора литературы, не давая его творчеству заметной цены и отнесшая в общий перечислительный литературный ряд, где ему определялось место уж отнюдь не в первой шеренге. Возник разговор и о «моде» на Булгакова. Явилось подозрение, что интерес к нему искусственно подогрет и с ходом времени склынет.

Между тем время, которое, казалось, прежде работало против Булгакова, обрекая его забвению, будто повернулось к нему лицом, обозначив бурный рост литературного признания. В 1975 году интерес к Булгакову был сильнее, чем в 1965-м, и не остыл к 1985-му. Более того, нет примет, чтобы в ближайшее десятилетие интерес к писателю пошел на убыль.

«Рукописи не горят». Посмертная судьба Булгакова подтвердила неожиданный афоризм-предсказание. Это поразило воображение многих читателей-современников, как когда-то прозрение Юной Цветаевой:

Моим стихам,  
как драгоценным винам,  
настанет свой черед.  
Как еще прежде ошеломляло пушкинское:  
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой...

Писатели большой судьбы знают о себе что-то, что мы о них до поры не знаем или не решаемся сказать. На этом перекрестке возникает интерес

к самой фигуре творца, к его биографии, личности. Почему мы так мало знали о нем? Почему с каждым годом он все более интересен?

В пьесах Булгакова — в самом их движении и словесной фактуре — было какое-то сильное излучение, которое иногда называют неопределенным словом «обаяние», исходившее поверх многоголосия лиц как бы от самой личности автора. Еще отчетливее и ближе лирический голос его прозвучал для нас в прозе. И хотелось больше узнать о человеке, который так умеет думать, так чувствует и так говорит.

Лев Толстой писал: «В сущности, когда мы читаем или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: «Ну-ка, что ты за человек? И чем отличешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?» Что бы ни изображал художник: святых, разбойников, царей, лакеев — мы ищем и видим только душу самого художника».

Этот-то интерес к душе художника, возникающий при чтении его книг, побуждает нас продлить свое любопытство, распространяя его и на то, что эту душу воспитало и сложило — его биографию и эпоху, вектор его судьбы.

Судьба Булгакова имеет свой драматический рисунок. В нем, как всегда кажется издали и по прошествии лет, мало случайного и отчетливо проступает чувство пути, как называл это Блок. Будто заранее было предсказано, что мальчик, родившийся 3(15) мая 1891 года в Киеве в семье преподавателя духовной академии, пройдет через тяжкие испытания эпохи войн и революций, будет голодать и бедствовать, станет драматургом лучшего театра страны, узнает вкус славы и гонения, бури оваций и пору глухой немоты и умрет, не дожив до пятидесяти лет, чтобы спустя еще четверть века вернуться к нам своими книгами. В биографии Булгакова выявляется несколько «узлов» или болевых точек, которые притягивают к себе наибольшее внимание — оттого ли, что о них больше всего говорится, или, напротив, оттого, что они до сих пор остаются загадкой.

Одна из легенд, связанных с именем Булгакова, заключалась в том, что хотя он начал писать поздно, но сразу с удивительной самобытностью и зрелостью. «Записки на манжетах» (1921—1922) давали представление о молодом мастере, как бы миновавшем пору рабского ученичества. Воспоминания о молодых годах Булгакова позволяют заметно корректировать такое мнение, разделявшееся прежде и автором этих строк, а заодно проследить корни возникшего литературного чуда. Первая половина жизни Булгакова, тонувшая прежде для биографов в неясных сумерках, может теперь быть полнее представлена благодаря записям мемуарных рассказов его близких — сестры Надежды Афанасьевны Земской и первой жены Татьяны Николаевны Кисельгоф (Лаппа).

Афанасий Иванович Булгаков, отец писателя, родом из Орла, окончил там духовную семинарию, пойдя по стопам отца — сельского священника. Мать, Варвара Михайловна Покровская, была учительницей из Карабачева той же Орловской губернии, дочерью соборного протоиерея. Дар, необходимый священнослужителю, заключался, как изве-

стно, не в последнюю очередь в владении тайной впечатляющего слова, импровизационной и доходчивой проповеднической речью. Не обойдем вниманием и то, что традиции этой благозвучной и чуткой речи сложились в коренном российском подстерье, на Орловщине, что дала России таких писателей, как Тургенев, Лесков и Бунин.

Сам Булгаков утверждал в «Автобиографии», что написал свой первый рассказ как-то ночью в 1919 году «глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина...». Дело автора — как датировать рождение в себе писателя, с какого момента числить начало своей литературной работы (хотя и этот рассказ, опубликованный, по-видимому, в грозненской газете, до сих пор не найден). Однако уже в семилетнем возрасте в пору, так сказать, эмбрионального развития он писал рассказ «Похождения Светланы».

Будучи начинающим врачом в Вязьме, Булгаков, видимо, впервые попробовал всерьез и свое перо: написал рассказ «Зеленый змий» (возможно, начальный вариант рассказа «Морфий»). Лишь по названиям известны и другие ранние опыты Булгакова — рассказ «Белый цвет» и еще то ли повесть, то ли рассказ «Недуг». Ни одна из ранних рукописей не сохранилась, и можно только гадать об их содержании, как о токе подпочвенных вод.

Ключ вырвался из-под земли, забил сильный свежий источник, и минялся, что это чудо. Но вода текла на глубине, незримо пробивая свой тайный путь, накапливаясь и набирая силу, пока не вышла наружу. Так и талант Булгакова возник для читателей почти внезапно, и лишь теперь мы узнаем его истоки.

Таким образом, мы уходим от иллюзии, будто писатель возник в литературе «готовым», вышел, как Афина из головы Зевса, и полнее понимаем мир сложивших его талант традиций, влияний и трудностей собственного роста.

Известно теперь, что большой драматургии Булгакова, начатой «Днями Турбин», предшествовали те пять малодушных пьес, написанных во Владикавказе в 1920—1921 годах («Самооборона», «Братья Турбины», «Глиняные женихи», «Сыновья муллы», «Парижские коммунары»), которые автор уничтожил (по случайности сохранился текст одной из них) и о которых желал бы забыть навсегда. Современный исследователь выскакивает остроумной догадкой, что значение этой «преддраматургии» Булгакова не столько в том, что он проверял и отрабатывал в ней приемы будущего сценического письма, сколько в том, что он понял, как не надо писать. Нельзя писать из тщеславия и второпях, не надо писать «по заказу» и «на тему». Чувство «эстетического стыда», как называл это Лев Толстой, за свои незрелые опыты — лучший двигатель художественного совершенства.

Становятся яснее и литературные предтечи, мир образовавших его художественный вкус читательских пристрастий. Смолоду среди любимых авторов Булгакова были Гоголь, Чехов и Щедрин. Если о первых двух легко было догадаться и изучению, скажем, «гоголевских» мотивов в его творчестве уже посвящены солидные исследования, то значение Салтыкова-Щедрина для автора «Мастера и Маргариты» мы, похоже, недооценили.

Дополнительный свет на эту тему проливает редкое для Булгакова прямое автобиографическое признание, ставшее известным благодаря опубликованной лишь в наши дни анкете «Литературного наследства»:

«...Я начал знакомиться с его произведениями, будучи примерно в тринадцатилетнем возрасте... В дальнейшем я постоянно возвращался к перечитыванию салтыковских вещей. Влияние Салтыкова оказало на меня чрезвычайное, и, будучи в юном возрасте, я решил, что относиться к окружающему надлежит с иронией. Сочиняя для собственного развлечения обличительные фельетоны, я подражал приемам Салтыкова, причем немедленно добился результатов: мне не однажды приходилось ссориться с окружающими и выслушивать горькие укоризны.

Когда я стал взрослым, мне открылась ужасная истина. Атаманы-молодцы, беспутные клемантинки, рукосуи и лапотники, майор Прыщ и бывший прохвост Угрюм-Бурчев пережили Салтыкова-Щедрина. Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным.

Каков Щедрин как художник? Ялагаю, доказывать, что он первородный художник, излишне».

После кратковременного пребывания в московском ЛИТО (Литературный отдел Главполитпросвета при Наркомпросе) Булгаков стал сотрудником газеты «Накануне», издававшейся в Берлине, и московского «Гудка». В первую четверть века, вместившую в себя столько грозных событий и преобразений, люди литературного мира, вообще говоря, не были обделены разнообразным и большей частью суровым опытом. Но Булгаков и в этом смысле выделялся среди более молодых коллег (Э. Миндлина, И. Овчинникова, В. Катаева). Он успел поработать врачом в прифронтовых госпиталях, знал глухую русскую провинцию, оказался свидетелем кровавых событий гражданской войны в Киеве, участвовал в стычках с горцами на Кавказе, принимал пациентов как врач-венеролог, а также успел побывать актером, конферансье, лектором, составителем словаря, инженером в научно-техническом комитете, и все это вместе с репортажной работой отложилось в памяти.

Случалось, Булгаков досадовал на мелкую газетную работу, мешавшую ему заняться сосредоточенным литературным трудом, но нельзя сказать, чтобы она не послужила ему своей службы и была лишь вредна таланту. И дело не только в том, что Булгаков, что называется, набил руку на этой «скорописи», растормозил свой творческий аппарат, что всегда важно начинающему. Существенное, пожалуй, что он черпал в приемах фельетона нечто значительное для формирования своего зрелого стиля. Раскрепощенная, открытая лирика соседствует с живым и низменным — речью улицы и коммунальной квартиры, создавая завораживающий эффект высокой литературности и одновременно свободной устной речи.

Елена Сергеевна Булгакова свидетельствовала, что в 1921—1925 годах Булгаков вел дневник. В этом дневнике он тщательно фиксировал, между прочим, ускользающие черты каждого дня: погоду на дворе, цены в магазинах, не пренебрегал указаниями на то, что ели и пили, как одевались, на каком транспорте ездили его современ-

ники, людьми, с которыми он встречался в гостях и дома. Впоследствии, как известно, дневников Булгаков не вел, но поощряя жену вести хотя бы самые скромные записи, иногда сам диктовал их, стоя у окна и глядя на улицу.

Он чувствовал себя пристрастным летописцем времени и своей собственной судьбы. И, зная, что первыми слагиваются в памяти летучие приметы быта, обихода, именно их старался точно, «фотографически» запечатлеть. Не оттого ли и в прозе Булгакова, где такой простор дерзкой фантазии и вдохновленного вымыслу, так натурален «цвет» и «вкус» времени? На этом съке и рождается обаяние современности его искусства.

Те, кто встречался с Булгаковым в московских редакциях в 20-е годы, вспоминают его по преимуществу человеком несловоохотливым, будто охранившим в себе что-то, и, несмотря на вспышки яркого юмора, отчужденным в компании молодых энтузиастов-газетчиков. Он вызывал изумление своей доходкой (И. Овчинников называет эту одежду «русским охабнем»), своим крахмальным пластроном, моноклем на шнурке, которые при скромном его достатке были скорее знаками чего-то желанного, чем роскошной, не по эпохе одеждой. Монокль Булгакова представлял как бы оппозицию футуристической желтой кофте. Там декларировалась эпатаж, разрыв с традицией, здесь — демонстративное следование ей. В этом, похоже, был элемент театральности, никогда не чуждый Булгакову. Но больше — позиция самозащиты, недопущения к своему «я», некоторой маски, скрывающей легкую ранимость.

Дивясь его франтоватому «буржуазному» облику, многие обманывались. А он будто ставил своей целью смутиль демонстративной симпатии к «фрачникам» поклонников «синей блузы» и модному новатору Мейерхольду противопоставляя традиционную оперетку с бесподобным Яроном. Растирьность видна и у некоторых современников. Э. Миндлин дивится его старомодным манерам («извольте-с», «как вам угодно-с»), ослепительным рубашкам с гипсово-твёрдыми воротничками, выступающим брюкам. Порой за чистую монету принимали иронические объяснения и тайные разыгрыши Булгакова.

Елена Сергеевна рассказывала, что Булгаков, расхаживая по комнате, под впечатлением только что прочитанной газетной статьи, случалось, напевал на мотив «Фауста»: «Он рецензент... убей его!» Неблагодушное отношение писателя к критике можно понять. Он тщательно собирали и собственноручно вклеивали в альбомы отзывы о своих произведениях, прежде всего о пьесах. Среди них, по его подсчетам, было 298 отрицательных и три положительных.

Для чего он делал эту странную работу? Что за вывернутое наизнанку щеславие — собирать неlestные отзывы о себе, образы добросовестного непонимания и злонамеренной клеветы? Приведут хотя бы одну цитату из этих булгаковских вырезок — слова из газетного отчета о постановлении секреции РАППа — «Советское искусство», 1931, 20 декабря. Творчество Булгакова расценивалось здесь как «прямая вылазка классового врага» («Дни Турбин», «Бег»), идеалистический гуманизм, упадничество и порнография («Зойкина квартира»). По-видимому, «проклинаемый на всех соборах» автор был уверен, что по закону справедливости, равнозначному в своей объективности физическому закону сохранения энергии, все эти отзывы со временем обретут иной знак, плюс и минус поменяются местами, и энергия отрицания для современников обратится в энергию утверждения для людей будущего.

Обычно люди живут безотчетно — изо дня в день, не ощущая поступки истории и, во всяком случае, не соотнося с нею свое бытие. У Булгакова было ощущение включенности в исторический процесс. Это подсказывало ему особое отношение и к кочующейся литературе полемике. Он не хотел, чтобы по-

томки забыли имена его гонителей и душителей. И в «Мастере и Маргарите» навеки запечатлел собирательный образ критика Латунского, мастера печатной ябеды, скрестив в самом звучании имени персонажа О. Литовского и А. Орлинского.

Годы спустя преданный молодой друг, сын Елены Сергеевны Женя Шиловский, составил список «врагов Булгакова», и оказалось, что эта наивная домашняя затея была не совсем нараспой. В годы возрождения имени Булгакова и новой славы объявились достаточное количество прежде молчавших о нем «друзей». Быть другом или хотя бы дальним знакомцем Булгакова стало не опасно, а лестно. Но когда, считаясь с новым читательским сознанием, некоторые из былых недоброжелателей Булгакова попытались вспоминать его, обелить себя, Елена Сергеевна не пошла ни на какие компромиссы. Даже В. Шкловскому, близоруко отозвавшемуся на литературные дебюты Булгакова эффективной фразой, что молодой автор напоминает ему «рыжего» у ковра («Гамбургский счет»), а его успех — лишь «успех вовремя приведенной цитаты» («Наша газета», 1925, 30 мая), близкие писатели никогда не смогли этого простить. Что же говорить об И. Кремлеве или О. Литовском, которые на склоне лет попытались корректировать историю и задним числом оправдать свое былое отношение к Булгакову! Нет, не напрасно собирали он газетные вырезки.

Обращает на себя внимание, что среди друзей Булгакова или хотя бы близких знакомых, бывавших в его доме, писатели оказались в меньшинстве. Эта среда не стала для него своей. Последние (и творчески самые важные) десять лет он редко ходил в гости. Принимал гостей у себя: бывало и хлебосольно, и весело. «У нас лучший трактир в Москве», — воскликнул, развеселившись, Булгаков. Но хозяин дома был насторожен против случайных знакомств, чувствителен к возможной зависти, науничеству и т. п. Характерно, что он охотнее общался с литераторами старшего поколения — В. Вересаевым, Е. Замятином, М. Волошиным, А. Ахматовой. Это был тот тип личности, та культура, которая была ему более родственна. Из молодых близких других оказались ему А. Файко и И. Ильф, С. В. Ка-таевым, Ю. Олешей, Б. Пильняком прочно дружбы не возникло. А. Фадеев навестил его и познакомился с ним лишь в последние месяцы болезни. Тогда же появились в его доме Б. Паsterнак, К. Федин.

Герой «Театрального романа» Максудов, познакомившись с писательским миром на вечеринке, где Измаил Александрович рассказывал о Париже, говорит самому себе «полную правду», лишь когда остается один:

«Я вчера видел новый мир, и этот мир мне был противен. Я в него не пойду. Это — чужой мир. Отвратительный мир! Надо держать это в полном секрете, т-сс!»

Щеславие, фанфанство и зависть — вот что отталкивает героя Булгакова от литературной среды, в какую он попал. И, напротив, первые же впечатления Максудова от театрального мира, таинственного и манящего мира сцены таковы, что герой задумчиво признает: «Этот мир мой...»

Чтобы понять настроения Булгакова той поры, мало иметь в виду всем наглядную историю его отреченных пьес и книг. В 1929 году пьесы его были сняты повсюду, и вскоре в выступлении на XVII губернской партконференции драматург Виктор Киршон вел уже борьбу не с самим списанным со счета Булгаковым, а с «подбугачниками». (В накале борьбы с кулаками и подкулачниками слово было рассчитано на мгновенный классовый рефлекс.) К весне 1930 года, лишенный, по его выражению, «огня и воды», Булгаков дошел до погибельного отчаяния. Он искал любую работу, пробовал наниматься рабочим, дворником — его не брали. Он стал думать о том, чтобы застрелиться, носил с собой револьвер.

В конце двадцатых годов у него был произведен обыск, изъяты все рукописи, дневники. Булгаков подал тогда заявление, где писал, что, если его литературные работы не будут ему возвращены, он больше не может считать себя литератором и демонстративно выйдет из Всероссийского союза писателей (был таковой предшественник ССП). Его пригласили на Лубянку. Перед следователем лежало заявление Булгакова. Указывая на ящики своего письменного стола, следователь сказал, что все тетради Булгакова лежат здесь. Ему вернут его бумаги, если он заберет свое заявление и не будет о нем вспоминать. Булгаков ушел, неся в кармане заявление, а в руках — пачки исписанных им тетрадей. Придя домой, он бросил дневники, которые вел с 1921 года, в печь. Больше он никогда не вел дневников.

В театральной среде Булгаков укрылся в 30-е годы как в некой экологической нише. Были годы, когда он чувствовал себя очень одиноким. При отсутствии отзыва со стороны читательской публики таланту необходим хотя бы минимум самоутверждения, чтобы не бросить перо. Конечно, его согревали безусловная вера в его дар и поддержка близких людей, прежде всего Елены Сергеевны, страстного его поклонника и добровольного биографа П. С. Попова, Н. Н. Лямина и других. Пренебрежение или равнодушие подстерегало его в литературной среде. Он и сам избегал суеты салонных и клубных общений, о шумных литературных заседаниях желчно отзывался как о «бале в лакейской». Но по природе Булгаков был общителен и, пережив приступ меланхолии, тянулся к людям.

Театр влек его как дружное, коллективное дело, общий праздник. Он давал выход из одиночества. В среде литераторов малейший его успех возбуждал ревность, и он чувствовал себя под перекрестьем недобрых взглядов, как его герой Максудов, когда имя его появилось на афише рядом с Шекспиром и Лопе де Вега. Для актеров, напротив, он был любимым автором театра, божеством, сочиняющим чудные реплики.

Однако с самим театром, с самым дорогим ему театром — Художественным — сложились у Булгакова трудные, даже драматические отношения. Театр, триумфально поставивший «Дни Турбин», которые прошли на его сцене почти тысячу раз, не по своей вине не смог воплотить «Бег», долго тянулся с «Мольером», понятным вразрез с замыслом автора и снятый после шести представлений. Театр измучил драматурга в пору инсценировки «Мертвых душ», а премьеры «Пушкина» («Последние дни») Булгаков так и не дождался.

Известен его конфликт с руководством театра, хотя Булгаков высоко ставил режиссерский гений К. С. Станиславского. Да и чисто по-человечески был навсегда благодарен ему за его благородное заступничество: ведь Станиславский заявил, что, если не разрешат «Турбин», придется закрывать театр. (Это, по существу, и дало пьесе в 1926 году дорогу на сцену.)

Но в десятилетнюю годовщину «Турбин» Булгаков с горечью застоявшейся обиды писал П. С. Попову: «Сегодня у меня праздник... Сижу у чернильницы и жду, что откроется дверь и появится делегация от Станиславского и Немировича с адресом и ценным подношением. В адресе будут указаны все мои искалеченные и погубленные пьесы и приведен список всех радостей, которые они, Станиславский и Немирович, мне доставили за десять лет в проезде Художественного театра. Ценное же подношение будет выражено в кастрюле какого-нибудь благородного металла (например, меди), наполненной той самой кровью, которую они выпили из меня за десять лет».

Высказывание горькое, резкое, но нельзя не понять, что мы имеем дело с конфликтом крупных людей, людей искусства, этим искусством одержимых, и, во всяком случае, все это далеко от мелких счетов и пересудов. П. А. Марков нашел верные и яркие слова о том,

что происходило между драматургом и театром: «Это была дружба страстная, сильная, часто мучительная, но абсолютно неразрывная, порой дохдившая — как в постановке «Мольера» — до трагического взаимонепонимания».

Об одном сложном узле биографии Булгакова надо упомянуть особо — о том значении, какое имела в его судьбе фигура И. В. Сталина. В советской литературе 30—40-х годов было мало крупных писателей, в судьбе которых Сталин не сыграл бы ту или иную роль. Фадеев и Шолохов, Ахматова и Мандельштам, Платонов и Пастрнак связанны с этой темой. Но случай с Булгаковым особы.

С первых спектаклей «Турбин» в 1926 году, когда он из ложиapplодировал артистам, тень Сталина, его мнение, его слово как бы незримо сопровождали Булгакова на всем его пути. И вот парадокс: поощряя накал политической борьбы в литературе, который сильно сказался на судьбе Булгакова, Сталин в то же время выступал как бы его покровителем, тайным меценатом.

Эта двойственность заметна уже в известном письме от 2 февраля 1929 года, адресованном драматургу В. Биль-Белоцерковскому, где, отнес пьесы Булгакова к безусловно «непролетарской» литературе, Сталин в то же время защищал «Турбин» от крайностей раппсовской критики: «Конечно, очень легко «критиковать» и требовать запрета в отношении непролетарской литературы. Но самое легкое нельзя считать самым хорошим... Что касается собственно пьесы «Дни Турбин», то она не так уж плоха, ибо дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков...» Так же двойственно отозвался он и о «Беге», который был несомненно прочитан им в рукописи: с одной стороны — «антисоветское явление», а с другой «...я бы не имел ничего против постановки «Бега», если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние пружины гражданской войны в СССР...»

Булгаков не воспользовался этим советом, и «Бег» не смог выйти на сцену. Вместе с тем «Турбины» на какое-то время оказались под верховой защитой от выходок «неистовых ревнителей» пролетарской ортодоксии.

Можно предположить, что Сталина поразила прямота, безоглядная откровенность Булгакова. Подозрительный, боявшийся удара из-за угла, Сталин не мог не отметить неуклончивость и чувство собственного достоинства, сквозившее, в частности, в обращениях Булгакова к правительству. Булгаков писал Сталину несколько раз. На первое письмо от 3 сентября 1929 года, переданное через начальника Главискусства А. И. Свидерского и содержащее просьбу отпустить его с женой за границу, Сталин не ответил, — может быть, письмо и не дошло до адресата. Второе письмо — «Правительству СССР» Булгаков написал в отчаянную минуту, когда он потерял всякую надежду не только печататься, но и получать какую-либо работу вообще. В письме от 28 марта 1930 года говорилось:

«После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет:

сочинить пьесу «коммунистическую» (в кавычках я привожу цитаты), а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях и уверения в том, что отныне я буду работать как преданный идеи коммунизма писатель-попутчик.

Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.

Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы представить пе-

ред Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Пытка же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заранее, что такая пьеса у меня не выйдет.

Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым.

Приведя многочисленные примеры несправедливой, уничтожающей критики его пьес в печати, он продолжал:

«Я не шептом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за Главреперком, написала, что «Багровый остров» — пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиль на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых, за недостатком места, я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать НЕВОЗМОЖНО. Памфлет не есть пасквиль, а Главреперком — не революция... Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призыв к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если бы кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода.

Вот одна из черт моего творчества... Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Нечего говорить, что пресса СССР и не подумала серьезно отметить все это, занятая малоубедительными сообщениями, что сатира М. Булгакова — «КЛЕВЕТА»...

И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбин», «Бег» и в романе «Белая гвардия»: упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею не-преложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Воины и мира». Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанным с интеллигенцией.

Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со своими героями, получает — несмотря на свои великие усилия БЕССТРАСТНО СТАТЬ НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ — атtestat белогвардейца-врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченым человеком в СССР.

...Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие, и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр».

Все мои вещи безнадежны...

Я прошу Советское Правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор, и что всю мою продукцию я отдал советской сцене...

Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня погребению заживо...

Я обращаюсь к гуманности Советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу.

Если же и то, что я написал, неубеди-

тельно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера...

Я предлагаю СССР совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста-режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня...

Если меня не назначат режиссером, я прошу на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошу на должность рабочего сцены.

Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но какнибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, — нищета, улица и гибель».

Это письмо было как крик боли полузадушенного критикой и рапповской «общественностью» человека. Булгаков не обдумывал осторожных фраз, обтекаемых формул, какие могли бы произвести благоприятное впечатление на адресата, писал резко и прямо, даже с эмоциональными преувеличениями («Я — мистический писатель», «яд, которым пропитан мой язык», и т. п.), желая только одного: если не развязать, так разрубить свой жизненный узел.

В таком письме не могло быть и тени неправды. Елена Сергеевна рассказывала, что, перечитывая письмо перед отправкой, Булгаков споткнулся о фразу: «...лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе...» «Но ведь это неправда, одна тетрадь осталась. Если захотят проверить, то узнают, что я сжег не все», — подумал Булгаков. «Надо сжечь». И тут же усомнился: «Но ведь если сжечь все, как я докажу потом, что роман был?» Булгаков разодрал сверху вниз тетрадь с первой редакцией «Мастера», и две трети каждой страницы сжег, а корешок тетради, сохранивший начало строчек, спрятал как возможное доказательство.

Письмо это 28 марта 1930 года было отправлено в семь различных адресов, а экземпляр, предназначенный Сталину, передал ему лично Я. Л. Леонтьев, тогда заместитель директора Большого театра. Ответ был получен с опозданием и лишь один — это знаменитый телефонный звонок от Сталина 18 апреля 1930 года, содержание которого было записано со слов Михаила Афанасьевича Е. С. Булгаковой.

— Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?

— Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне родины, и мне кажется, не может.

— Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

— Да, я хотел бы. Но я говорил об этом — мне отказали.

— А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся».

Таков был этот, решивший судьбу Булгакова разговор, породивший потом множество легенд и живописных переложений в литературной среде, отразившийся и в мемуарах Паустовского, но, по-видимому, точнее всего зафиксированный Еленой Сергеевной со слов Михаила Афанасьевича в приведенной выше дневниковой ее записи.

Этот разговор побудил Булгакова сделать окончательный выбор — работать на своей земле и для своей страны, подвел черту под его сомнениями и колебаниями.

Что, однако, побудило высокого адресата спустя три недели откликнуться на письмо Булгакова? Что произошло между 28 марта и 18 апреля?

14 апреля 1930 года в своей комнате в Лубянском проезде пустил себе пулю

в сердце Маяковский. 17 апреля его похоронили. За три дня около 150 тысяч москвичей прошли в Клубе ФОСП на улице Воровского мимо гроба того, кого вскоре вождь назовет «лучшим, талантливейшим» поэтом эпохи. А спустя всего сутки Булгаков позвонил человек с грузинским акцентом. Простейший политический расчет подсказывал ему, что нельзя доводить до крайности еще одного известного литератора. И так уже прежде покончили с собой Сергей Есенин, Андрей Соболь. А тут Маяковский. Не хватало еще Булгакова.

Булгаков, лишь недавно видевший перед собой «нищету, улицу и гибель», и в самом деле был принят на призрачную, но дававшую кусок хлеба службу в Художественный театр и выбросил револьвер в пруд у Ново-Девичьего монастыря.

Булгаков еще более убедился, что находится под присмотром и тайной защитой человека всемогущего, когда в 1932 году МХАТа была возвращена давно снятая с афиши пьеса «Дни Турбин». На спектакле «Горячее сердце» в правительственный комнате за ложей глава театра Немирович-Данченко и обходительный царедворец с изысканными манерами, актер Подгорный, еще недавно встречавший здесь великих князей, принимали теперь кремлевских гостей. В антрактах велись непринужденные разговоры. Сидя на диване перед круглым столиком с цветами, бутылками вина и вазами фруктов и поднося спичку к трубке, вождь обронил, будто невзначай: «А почему давно не идут «Дни Турбин» драматурга Булгакова?»

Словно бы он не знал, точно не слышал того смиста и улюлюканья, под который еще недавно пьеса была снята из репертуара всех театров страны Главреперкомом. Будто не читал в газетах призыва через всю полосу: «Долой булгаковщину!» Будто сам не отвечал 2 февраля 1929 года на эпистолярный донос Билль-Белоцерковского рассудительным увещеванием: «Что касается собственно пьесы «Дни Турбин», то она не так уж плоха, ибо она дает большие пользы, чем вреда».

Рябоватый вождь во френче с прищуром восточных глаз и улыбкой, прятавшейся в усах, делал вид, что не знает или не хочет знать всего этого, и Подгорный поддержал игру: «В самом деле, давно эту пьесу не давали... Декорации, Иосиф Виссарионович, требуют подновления...»

Вождь сел в черную машину с провожатыми и уехал, а Немирович и Подгорный молча переглянулись. Ба! Вот так история! Как прикажете понимать? И на всякий случай порешили выждать.

Но долго ждать не пришлось. Не прошло и недели, как в театр позвонил Аベル Енукидзе и сказал, что товарищ Сталин интересуется, когда он может посмотреть «Турбин».

Тут уже Владимир Иванович не поглядывал неторопливо свою красивую бороду. Тут забегали, засуетились, артисты стали вспоминать текст, назначили срочные репетиции, извлекли и подновили начавшие пленесневеть и осыпаться в сарае декорации.

В день спектакля 18 февраля Булгаков был в театре, потерянный, счастливый, слоняясь за кулисами, но не появился перед публикой. Станиславский передал ему свою просьбу не выходить на вызовы и не появляться в зале, чтобы не случилось апофеоза с нежелательным душком. Был когда-то на одном из спектаклей «Турбин» случай: офицеры на сцене запели «Боже, царя храни», и часть публики встала. С тех пор в театре боялись эксцессов.

И пьеса пошла. Однако автор ее не чувствовал себя спокойным и спустя два месяца после ее возобновления: все казалось ему, что она вот-вот снова будет снята. «...Писать ничего и ни о чем не могу, пока не развяжу свой душевный узел», — исповедовался Булгаков П. С. Попову. Прежде всего о «Турбинах», потому что на этой пьесе как на нити подвешена теперь вся моя жизнь, и ежедневно я воссыпаю моле-

ния Судьбе, чтобы никакой меч эту нить не перерезал».

И пьеса шла. Она была разрешена, правда, только одному театру в стране. Но и это было чудо. «Турбины» шли в тридцать четвертом году, и в тридцать пятом, и в тридцать шестом. Они не сошли со сцены в тридцать седьмом и шли вплоть до сорок первого. Уже был выслан Осип Мандельштам, исчезли Пильняк и Бабель, убит Мейерхольд заодно со своим театром, а «Турбины» шли. Булгаков почти уверовал в бытие злой силы, незримо охраняющей его и чудодейственно посылающей свое благо.

Тот, кто ответил однажды на его письмо, наверное, считается с ним, — подумал Булгаков. И в самую недобрую пору решился просить за высланного товарища — драматурга Николая Эрдмана. За самого бы Булгакова кому попросить: «Турбины» идут, но ведь десять лет не печатали ни строчки. Но просит он. Сочиняет письмо в духе тех, что любимый его Мольер составлял для Людовика XIV. В письме говорилось о процветании наук, искусств и ремесел под мудрым правлением Вождя, и на этом помпезном фоне проситель живописал превратную судьбу талантливого и безвинно страдающего драматурга, за личную безупречность и чистоту помыслов которого он, Булгаков, безусловно ручался.

Он сам отнес письмо и сдал, как тогда полагалось, в кремлевскую будку. А Эрдмана — так, во всяком случае, уверяла Елена Сергеевна — вскоре же перевели из глухого, погибельного угла в недальную ссылку, в Вышний Волочек под Калинином, хотя вовсе освободить не решились. Булгаков был горд, приписывал случившееся силе своего письма и окончательно убедился, что между ним и владыкой полуимра существует таинственная связь.

Если не затушевывать сложные и трудные моменты в биографии и взглядах Булгакова, а этого не надо делать хотя бы из уважения к его собственной прямоте, то надо сказать, что искушение эмиграции не раз возникало на крутых поворотах его драматической судьбы. В 1921 году во Владикавказе Булгаков был недалек от того, чтобы вместе со своим дальним родственником Н. Н. Покровским последовать в Тифлис, чтобы оттуда через открытую границу добраться до Стамбула — тогда он пошел бы дорогами героев своей пьесы «Бег». Да и в 1929 году, в разгар газетной травли, он еще колебался, не покинуть ли родину вместе с Л. Е. Белозерской, совершив вынужденный обстоятельствами отъезд, наподобие того, на какой в 1932 году решился Е. И. Замятин. (С Замятином Булгаков дружил и провожал его в дальний путь на перроне Белорусского вокзала.)

Но в 1930 году, и именно после знаменитого звонка, он, похоже, окончательно решил свою судьбу, и Сталин не мог этого не оценить.

Постепенно в сознании Булгакова и в его окружении, среди близких, создалась стойкая легенда об особом покровительстве со стороны Сталина. Он был могучей силой, злой силой, но относился к Булгакову, так по крайней мере считала Елена Сергеевна, если не с сочувствием, то с уважением и тайным любопытством. Похоже, что так же временами думал и сам Булгаков.

Создатель Воланда в «Мастере и Маргарите» много раздумывал о том, что сила, которая «вечно хочет зла», может совершать и «благо». А в книге и пьесе о Мольере Булгаков склонен был, яростно ненавидя «кабалу святощ», сделать некоторое исключение для Людовика XIV, покровительствовавшего Мольеру (речь, разумеется, не о прямых иносказаниях, аллюзиях, а о владевшем автором настроении, ходе мысли).

Все это важно иметь в виду, поскольку между современниками писателя нет согласия в вопросе о последнем сочинении Булгакова — пьесе «Батум»

Окончание на 31-й стр.

# ПОБЕДА В ПЯТИ ИЗМЕРЕНИЯХ

СПОРТ '98

Сергей МИКУЛИК  
Фото Владимира ЧЕЙШВИЛИ

— Кажи, Ира, а какой твой любимый вид — конкуრ, фехтование... или, может быть, плавание?

— Любимый вид один — пятиборье. Для меня оно как-то не разлагается на составляющие. Знаете, если отдать его в целом, знаете, если отдать одному виду, другому, по-моему, будет обидно...

Ответить так, согласитесь, могла какая-нибудь начинающая, не обремененная ни опытом, ни славой спортсменка. Откуда, если она до сих пор не определилась для себя собственные сильные и слабые стороны? Но нашу собеседницу зовут Ирина Киселева, и в свои 20 лет она уже двукратная чемпионка мира по современному пятиборью. Вот вам и кажущаяся наивность новичка.

Может, пятиборье для нее единственный вид потому, что у Ирины не пять тренеров (по количеству специализаций), а с самого начала один? Тренер этот — ее отец, увлекшийся многоборьем еще задолго до рождения дочери. Какие только комбинации Влади-

Этот  
барьер  
будет  
наш.

Обгоняя  
дельфинов.  
Трудная  
дорога  
на Олимп.

димир Пе-  
вал — и  
и военн  
но, с  
И везд  
то что  
всесо  
заме  
К  
пех  
вз





Борисович не перепробовал морское многоборье, о-техническое, и, конечно, современное пятиборье. Не добивался успехов. Не был очень громких, но на юном уровне достаточно гонщиков.

Ирина первый серьезный участвовал в 17 лет, когда она пришел в Москву. Но, чтобы победить не тот вид, где можно победить случайно. Но, чтобы привлечь на себя внимание, Киселеву пришлось выиграть еще два крупных турнира подряд. Если кому-то и везет в спорте, то именно сильным.

На четвертом году занятый пятиборьем Ирина Киселева дебютирует на мировом первенстве. Дебютирует, практически не имея опыта соперничества с пятиборками других стран, — с выходом женского пятиборья на международную арену у нас по-чemu-то не слишком спешили. Дебютирует — и с ходу замахивает-

ся на победу. Знаменитая полька Барбара Котовска все ждет, когда же Киселева начнет отставать от нее по сумме очков, ждет, в каком же из видов Ирина проходит «слабинку». Но Киселева в шаг с фавориткой и лишь в заключительный день соревнований уступает ей пять секунд на дистанции кросса. Пять секунд на трех километрах борьбы...

— Ира, а женское ли это дело — пятиборье?

— Если иметь в виду только силу и выносливость, к которым почему-то так часто сводят все перипетии нашей пятидневки, то пятиборье надо, наверное, на разве оставить мужчинам. Но разве наш вид держится только на этих качествах? Знаете, например, чем надо брать в конкуренции? Лаской. Да-да, ведь на знании с лошадью перед старкомство нам дается не больше двадцати минут. Для обходного изучения. Человек за это время

должен почувствовать характер животного, а лошадь — определить, кто на ней сейчас поедет — всадница или «пассажирка».

— А в фехтовании где искать рецепт успеха?

— Здесь все как у разведчиков. Помните — «умение обманывать — есть альфа и омега наше го искусства». А, скажем, стрельба — сложнейшее психологическое испытание. Весь огромный мир должен сузиться для вас до размеров крохотной мишени. Трудно, очень трудно входить в такое состояние, но «возвращаться» из него, пожалуй, еще сложнее.

По институтской специализации Ирина, кстати, психолог.

Тема диплома студентки Центрального института физкультуры — «Сбивающие факторы в технических видах пятиборья».

Вопреки сложившемуся мнению о фиктивности у него мнению о фиктивности учебы спортсменов, Киселева — студентка очень серьезная и вдумчивая — ленинский стиль и пениат и член совета института. Это при том, что ежедневно она тренируется по трем-четырем видам пятиборья.

Как она проиграла первый мировой чемпионат, мы уже знаем, а о том, как выигрывала, рассказывает... неинтересно. Да-да, представляете, два года подряд она бежит кросс, можно сказать, играючи. В первые три дня соревнований, то есть в первых трех видах, Ирина добивается такого преимущества, что упустить его в плавании и беге просто не может: в этих и беге прыжках ее не подгоняют, а сдерживают ее грозные, быстрые-быстрые. Соперницы, не приходится — что травмы обошлись. Соперницы, не над секрециями, ее успехов, но когда грозные, травмы обошлись. Соперницы, не раскрыть их пока не могут. И лишь два человека точно знают, почему и как побеждает Ирина Киселева — она сама и ее тренер. Есть, правда, и третий специалист — с той же фамилией. Киселев Владимир Владимирович, мастер спорта по пятиборью, первокурсник Института физкультуры. Специалист у Киселевой, что потенциал у Киселевой младшего такой, что в будущем он наверняка... Так что подождем немного — может, семья Киселевых оккупирует скоро весь пятиборный Олимп...

Сколько весит чемпион?  
Хорошо, когда тренер — папа.

Ну-ка,  
сколько  
в «десятку»..

Пять  
минут  
передышки —  
и в бой!

# ...И ОДНА НОЧЬ

Окончание. Начало на 4-й стр.

Это испортило настроение Чурбанову... Пользуясь случаем, я вытащил сверток с деньгами и положил в карман его форменного кителя... Он, улыбаясь, поблагодарил меня».

Из показаний Чурбанова: «Каримов дал мне взятку, чтобы заручиться моей поддержкой. Было видно, что ему хотелось оставить о себе хорошее мнение».

«Хорошее мнение». Самое место поставить восхитительный знак. Самое время порассуждать о нравственности и идеалах, поставленных с ног на голову. О двойной морали — «одни слова для кухни, другие для улиц». Повод порассуждать, право, хорош. Но...

Но вот что меня смущает. Последнее время мы много и все более раскованно говорим о своем горьком прошлом. О сталинском геноциде. О маршалах, уничтоженных только за то, что были талантливы. О других маршалах, клавших десятки тысяч жизней на алтарь «великого и мудрого вождя», заигрывавшего, в свою очередь, с западными союзниками. Об организованном голоде. О неоправданных жестокостях колхозов. Об ошибочной и субъективной стратегии индустриализации. О кровавой тактике северных лагерей. Наконец, о кукурузной эпидемии и поминании «кузькиной матери» в стенах ООН. О ставших притчей во языцах застийных годах.

Однако, как только приближаемся к совсем недавнему прошлому, бурчание неразборчивое, а пафос неконкретнее. И почему столь мучительно намается разговор о болях сегодняшних, пусть и возникших вчера? Да потому, что мы знаем и «интуичим»: люди, в этом виновные, по-прежнему занимают высокие посты и без боя их не сдадут. И главное направление их контрударов — гласность. Здесь применяются два основных приема: мимикрия «под перестройку» и атака под испытанными лозунгами времен «охоты на ведьм».

И в данном случае — я имею в виду деятельность следственной группы — бьют с этих же двух точек. По одной мишени. Которую повесил себе на грудь руководитель особого подразделения Прокуратуры, старший следователь по особо важным делам Тельман Хоренович Гдлян.

Все бойцы (а иначе и не скажешь) возглавляемой им группы, с которыми я беседовал, единодушны не только в стремлении довести начатое разоблачение коррупции до логического конца, но и в том, что именно Гдлян цементирует усилия десятков таких разных людей. Своей несгибаемой волей, бескорыстной отрешенностью, пугающей дерзостью и убежденностью в том, что группа дойдет до финиша.

Короче, Тельман Гдлян, если придерживаться терминологии следователя из Краснодарского края Василия Лашхии, «капитальный», а здесь, считаю, смело можно ставить на выбор: мужик, юрист, коммунист.

Группа Гдляна вот уже пять лет занимается разоблачением взяточничества.

При Брежневе о подобном деле (кем-то окрещенном «узбекским», хотя оно рамками своими выходит далеко за пределы одной республики) не могло быть и речи. Леонид Ильич, видимо, памятуя об афоризме Козмы Пруткова: «Человеку даны две руки на тот конец, дабы беря правой, он раздавал левой», просто брал разномастные подношения и, не скучая, расплачивался дарами — привилегиями и сокровищами, ему не принадлежавшими. Причем делал это порой публично, не стесняясь телекамер. Принимал роскошный перстень от Алиева, а потом... Впрочем, чего там... Зато «он был за мир».

Сегодня очаги коррупции обнаружены в Средней Азии, Москве, Закавказье, Молдавии, на Украине... Ниточки тянутся... Беседую, например, со следователем из Кемерово Виктором Идленко и узнаю: оттуда гнали (за взятки, разумеется) лес сюда, в Узбекистан. Завод разговор с другим членом группы, из другого города — что-нибудь в этом же роде слышу.

Но все равно многим хочется локализовать вскрытую коррупцию, обозвав дело «узбекским». Как образно заметил во время выступления в передаче «Взгляд» Тельман Хоренович, кем-кому выгодно наплыть на обнаженную систему взяточничества стеганый халат и цветастую тюбетейку — местные, мол, реалии. Кстати, на Среднюю Азию этот сюжет «не поспел». Полностью интереснейший фрагмент того «Взгляда» увидели лишь дальневосточные зрители. Потом кто-то спохватился и затеял привычную хирургию, пустив в ход редакторские ножницы.

Еще бы, это беспрецедентное расследование, которое рано или поздно войдет не только в хрестоматии для юристов, но и в учебники истории, ныне многим кажется неудобным. Поэтому-то и приклеили, повторяю, к нему ярлык «узбекского» (не без расчета, думаю). Ведь титулованным мэдзомцам нежелательно, чтобы оно превратилось в «московское». Как когда-то стало «узбекским» из «бухарского». А «бухарским» из «музаффаровского».

...В один из апрельских дней 1983 года машину начальника ОБХСС Бухарского УВД А. Музаффарова «сжали» с двух сторон оперативные «Волги». Он настолько не был морально готов к аресту, что подумал вначале, что хулиганы подыпывавшие «золотую молодежь». Однако, когда из левой по борту «Волги» протянулась крепкая рука, перехватывающая руль его автомобиля, подполковник милиции Музаффаров понял, что дело серьезное.

И все-таки, несмотря на то, что сотрудники КГБ взяли его (при получении взятки) с поличным, он вел себя на допросах нагло и угрожал грядущей расправой. Знал, кто за них стоит.

Но... одного за другим арестовывают начальника Бухарского УВД А. Дустова, директора горпромторга Ш. Кудратова и т. д.

Тогда-то и направила Прокуратура Союза в Бухару спецбригаду из трех человек под руководством Т. Гдляна. В таких случаях, как правило, с энтузиазмом встречают помощь из «центра». Но следователи, к своему удивлению, оказались в роли непрошеных гостей и столкнулись с недружелюбным, гранящим враждебностью, отношением к себе со стороны многих высокопоставленных лиц республики. Одновременно прилагались энергичные усилия, чтобы изъять дело из ведения Прокуратуры СССР и передать местным органам. Тогда бы, как это случалось прежде, загубили его в зародыше, не допустив таким образом привлечения к уголовной ответственности других, виновных во взяточничестве лиц.

У тогдашнего первого секретаря ЦК КП Узбекистана Ш. Раширова были все основания беспокоиться по поводу перспективы разматывания всего клубка совершенных под его руководством преступлений. По существу, с первых же дней началось мощное противодействие

нормальному ходу следствия, которое усиливалось с каждым годом и неизбежно переросло в открытое противоборство двух сил — противников и сторонников оздоровления общества. Противоборство, которое, как мне кажется, достигло ныне кульминационной точки.

...Но в то время еще никто не знал и даже не мог предполагать, каковы масштабы коррупции, хищений, приписок и разложении кадров. И поэтому было непонятно, почему вокруг этого, в общем-то на первый взгляд рядового дела создается такой ажиотаж.

В конце 1983 года четко обозначились основные контуры массового взяточничества и морального растления руководящей верхушки Бухарской области во главе с первым секретарем обкома партии А. Каримовым. Тогда же было установлено, что нити преступных связей тянутся из древней Бухары в Ташкент. Москва и другие столицы «всплыли» потом.

Велико «наследство», оставленное преступниками республике. Сколько слез было пролито, сколько горя причинено людям. Губительны последствия «социального катаклизма» в одной из ведущих республик, где проживает 19 миллионов человек. Корысть, не знающая границ, потогонная система «ударного труда» в сочетании со все-дозволенностью и безнаказанностью привели к тому, что преступные элементы завладели миллионами.

Из обвинительного заключения по делу Музаффарова: «В процессе обысков по месту жительства и работы Музаффарова и его родственников были изъяты принадлежащие ему ценности на общую сумму 1 627 542 руб., из которых деньги 1 131 183 руб., ювелирные изделия и золотые монеты на 246 760 руб., облигации 3-процентного займа на 46 225 руб., промышленные товары на 203 674 руб.».

Из обвинительного заключения в отношении Кудратова: «При обыске в служебном кабинете Кудратова обнаружено 8 516 руб. В жилых и подсобных помещениях дома обнаружено 565 781 руб. В оборудованных тайниках изъято золотых монет и ювелирных изделий на общую сумму 3 759 978 руб. Помимо этого, у Кудратова было обнаружено и изъято... 1 550 метров различной ткани, 26 ковров... 81 пара обуви. В ходе следствия наложен арест на 3 жилых дома и находящееся в нем имущество... В общей сложности у Кудратова обнаружено и изъято ценностей на сумму 4 541 682 рубля». Установлено, что Кудратов скупил 6 586 золотых монет (каждая стоимостью около тысячи рублей) и еще большее количество золотых ювелирных изделий, часть из которых передал своим покровителям.

Что касается ценностей, изъятых следствием у первого секретаря Бухарского обкома партии Каримова, то они превышают « капитал» Кудратова и Музаффарова, вместе взятых.

Вся «бухарская троица» приговорена судом к смертной казни с конфискацией имущества и валютных ценностей. Эта мера позднее заменена, в порядке исключения, двадцатилетними сроками заключения, хотя никто из них не возместил добровольно ни одного рубля из многомиллионных состояний. Все изъято следствием без их желания. В соответствии со ст. 38 УК РСФСР и УК Уз. ССР добровольное возмещение материального ущерба является смягчающим вину обстоятельством. Целый ряд обвиняемых воспользовались компромиссным «прихватом» и сами выдали государству ценностями. Такое поведение учитывается при определении им меры наказания.

Но вот, например, Т. Осетров (ставший вторым секретарем ЦК КП республики уже после того, как началось следствие) отказывался на очных ставках, что принимал подношения в конвертах. Зато, приезжая по служебным делам в различные города, имел обыкновение добродушно спохватываться:

«А у вас что-то прохладно. Как это я не рассчитал — забыл дома шапку». Об этой его манере были наслышаны, и потому всегда наготове держали этакое меховое чудо. Головных уборов из ондатры и бобров скопилось дома у «забывчивого» чиновника — на роту хватит.

Антигосударственные действия преступной группировки пробили брешь в экономике республики. За период 1978—1983 годы (в том числе и после смерти Раширова) по минимальным подсчетам приписано якобы собранного хлопка 4,5 миллиона тонн, чем нанесен ущерб в размере более 4 миллиардов рублей. Это только по хлопку!

Рассказывает следователь по особо важным делам Николай Иванов:

— Хлопковая афера имела своих родоначальников. И не менее ретивых последователей. Во второй половине 70-х с хлопком стали твориться «чудеса». Из года в год (по липовым отчетам) росло количество собранного сырца, перевалив за 6 миллионов тонн, а количество изготовленного из него волокна, несмотря на различные махинации, все больше уменьшалось. Анализ состояния дел в республике показал, что аналогичная ситуация наблюдалась и в других отраслях экономики. И это не было секретом ни для кого, кроме, как ни странно, руководства республики. Эти лица долгое время старались оставаться в тени, боясь разоблачений, дезинформируя в кулуарах руководителей различных рангов, что наше расследование мешает нормальной работе в республике, компрометирует и устраняет опытные кадры, срывает выполнение государственного плана. Да, наша группа действительно мешает, но только жуликам. Многие «опытные кадры» сменили свои кабинеты на временные камеры, и немалая часть «специалистов» была лишена возможности брать взятки и творить иные «художества». Однако, когда невозможно стало и дальше скрывать случившееся, то и здесь нашлись «мудрецы», которые не смогли придумать ничего более умного, как списать последствия преступлений на «гипноз Раширова».

Хлопок... Это не пшеница, гнать пустые вагоны с «белым золотом» легче и удобнее. Легче, потому что потом проще утрясать в Москве дела «о реализованном сырце».

Да, вещая с трибуны о немыслимых обязательствах, Рашидов фактически призвал к прискам. А они-то, «вожди среднего звена», куда смотрели? Наверх! Невыполнимую «лажу» скреплял державной рукой сам Брежnev, награждая своего любимца очередным орденом Ленина. У Раширова их было девять. Помню, как я просто врос в стул, присутствуя на одном из допросов, когда С. Салаутдинов строго спросил обвиняемого:

— Сколько заплатили за орден Ленина?

Представительный мужчина забормотал, передернув плечами:

— Да я что... я человек бедный... Сто тысяч отдал товарищу...

И совсем не по себе мне стало, когда Султан Алиевич прервал смущенное бормотание:

— Неправда! Орден Ленина стоит около пятидесяти тысяч!

Все имело тариф. Все продавалось. Один из старейшин следствия, Альберт Карташьян, занимается на общественных началах научной систематизацией результатов расследования. Есть в его трудах и графа «Наиболее характерные случаи получения (дачи) взятки». Прием на работу. Направление и поступление в институты и средние специальные учебные заведения. Непривлечение к уголовной ответственности. Квартиры, автомобили, прочий дефицит. Освобождение от срочной воинской службы, особенно от призыва в «Афган». Есть и чисто «деловые» штучки типа: «Сохранение от укрупнения мелких и средних мастерских и цехов». «Устройство на свое место (при увольнении) нужного

человека». И вот такое: «Призовые места».

Разные цели, разные цены. Место секретаря райкома партии — от 100 000 и выше в зависимости от престижности района. И вот что удивительно, все знали, сколько уплатил новый секретарь за кормило власти, которое будет его отныне кормить. Этой суммой измерялся авторитет. Равно как и наличие на груди тех или иных наград свидетельствовало не столько о трудовых заслугах, сколько об умении «наживать».

В коррупции самое страшное — ее наглость. Заматерев, она перестает скрываться в кабинетах за двойными дверями, она стремится наружу, побахвалиться. На телезреканах, торжественных приемах и газетных полосах. (Кстати, в процитированном выше списке был пункт: «За организацию газетных выступлений». Я просматривал газетные и журнальные подшивки начала 80-х, картина еще та...)

В день прилета нас, журналистов, встречал в аэропорту один из ветеранов следствия, Владимир Кравченко (Ставропольский край), по совместительству — ангел-хранитель, шеф-хозяйственник, Утряситель Всех Дел и т. д. По дороге (очень долгой, поскольку — по конспиративным соображениям?) — нас попросили лететь в соседнюю республику, с обязательством последующей «доставки» в Ургенч) Владимир Павлович посыпал вновь прибывших в финансовый расклад (гостиница, питание и т. п.). Уже тогда я подумал, что рублевые хлопоты и миллионы изъятия как-то диссонируют. Приехали мы с корабля (авиа) на бал (сдачу ценностей). Один из хранителей денег бывшего партийного босса принес (добровольно) скромную сумму — 200 000 рублей. Деньги деловито упаковали на моих глазах и закрыли в белом сейфе.

А со следующего дня я стал свидетелем мелких «бытовых» неудобств. Следователи порой притормаживали работу из-за отсутствия чистых кассет, ссыпались (не сильно, конечно) из-за ... очереди на пишущую машинку. И т. д., и т. п.

Согласен, система координат, когда ежедневно имеешь дело с пяти-шестизначными числами, меняется. Но ведь и там, и здесь те же рубли. Неужели группа не может рассчитывать на то, что жалкий процент из «зароботанных» денег используют, скажем, на техобслуживание ее работы?..

— Вот ночи три помается по изъятиям, узнаете, что такое «горячая рабочая», — мрачновато предсказал Алишер Хусаинов.

Мне хватит одной.

Эта ночь началась, как и все подобные ночи изъятия, в восемь утра. Раздали тяжеленные бронежилеты. («Будут стрелять?» — «А кто их знает?...») Следователи Светлана Московцева и Николай Михальский (оба — с Украины) вооружаются... пишущей машинкой. Всеволод Бобров — видеокамерой. Едем в соседнюю Ташаузскую область (Туркмения). Скорость автоколонны ограничена — 70 километров в час — нельзя отрываться от арьергардного вездехода с автоматчиками. Маршрут известен только полковнику В. Антонову и «важняку» Н. Иванову. По радио время от времени: «Говорят «первый», сейчас — поворот на колхоз Ленина»... Приданый группе боевой вертолет прибыл на место чуть раньше...

Репортажных подробностей хватит, пожалуй. Полагаю, что детективных страстей я уже нагнал. Следует объяснить, почему «операции по выемке» затягиваются до глубокой ночи, а иногда не укладываются ни в 24, ни в 48, ни в 72 часа.

Например, самоубийца Гаипов не только не выдаст теперь своих столичных покровителей, но и рассредоточил миллионы по доверенным людям. Потом, когда начинается кропотливый поиск, вступает в силу «закон веера». Допустим, передал Гаипов одному из

своих фаворитов заветные «дипломы» с миллионами. (Кстати, по многолетней «взяточной» практике установлено: стандартный «дипломат», набитый стопорилками — 1 миллион... Чтобы не пересчитывать. И еще одно «кстати» — котировались только пятидесяти- и стопорилки, за обмен пачки трешников или пятерок на крупные купюры платились деньги. 35 трешек эквиваленты одной сотенной.)

Доверенное лицо распределяет ценности по знакомым. Те, в свою очередь, по своим точкам. В результате стоящий на определенной ступеньке хранитель не ведает, где в данный момент находятся сокровища, он может лишь показать, кому их передал.

И следствие вынуждено добираться до самого низа этой пирамиды. В результате изъятие, которое можно было провести еще, скажем, год назад одним ударом, дробится теперь на хлопотное рассеивание сил. Порой у конечного (на данный момент) укрывателя хранится лишь дюжина золотых гиней, пара жемчужных бус, ассигнаций тысяч на 20–30 и прочая мелочевка.

Так что победный визит с извлечением многогудовых чемоданов, набитых купюрами и слитками — картина гипотетическая. В жизни все сложней, дальше, изнурительнее и жарче.

И еще об одном мифе. Мне приходилось сталкиваться с категоричным мнением, что «рекламировать это дело» не стоит. Народ, мол, не желает, чтобы его «славили на весь мир». Большинство декларирующих такие демагогические вывты просто завязаны так или иначе с мафией и мечтают не только заткнуть поплотнее кляп, но и связать покрепче руки следствию. Ну а тем, кто купился на риторику или искренне заблуждается относительно реакции народа, могу лишь одно посоветовать — пообщаться с этим самым народом.

Я видел, как благодарили люди, простые люди, следователей, как целовали им руки, руки избавителей от ярма коррупции.

Я слышал, как спрашивали: «Когда же к нам приедет?»

Спросите у тружеников, которых средневековыми пытками вынуждали к участию в грандиозном парадном обмане «рекордными урожаями», жаждут ли они возвращения старых лозунгов и сохранения лицемерных порядков, когда все, включая печатное слово, имеет меркантильный эквивалент, а жулики одаривают друг друга монументальными вазами с собственным изображением?

Спросите у дехкан Каракалпакии, которых фанфарная система заставляла возделывать опийный мак и профессионально производить наркотики, и все во имя того, чтобы заражавшиеся сыники «именитых руководителей» имели возможность развлекаться с заезжими эстрадными дивами.

Спросите у жен и детей тысяч и тысяч посаженных «за хлопок» бригадиров, занимавшихся приписками, дабы их сановное руководство могло этими грязными деньгами оплатить услуги виднейшего живописца, запечатлевавшего «новых ханов», как они рассчитывали, для «народных музеев».

Спросите у золотодобытчиков Зарафшана, мечтают ли они гнуть спину, чтобы из сработанного ими металла опять или блюсты современных «отцов народа».

Спросите у Бахтияра Абдурахимова (лучшего, кажется, из следователей бригады) — во вред или во благо своего поруганного народа разоблачает он тех, кто мнит, по-прежнему мнит себя его вождями.

Я спрашивал. И слышал такие ответы, что...

Однако надеюсь, что все ружья, развесанные в первых абзацах, выстрелили. И еще я очень надеюсь, что не прозвучит тот выстрел, за который наемным убийцам уплачены уже 150 тысяч. Сумма, по этим меркам, ничтожная...

# ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ?



В последнее время на страницах разных изданий, в том числе и вашего, обсуждается много очень интересных и нужных вопросов. Это и политика, и идеология, и мораль, и нравственность.

Предлагаю вам начать разговор на тему, которую я бы назвала «Озлобленность».

Мы много красивых и правильных слов сказали о коммунистической морали, о воспитании в человеке доброты, уважения и любви к ближнему. Мы неоригинальны в этом вопросе: религия на протяжении всей истории человечества проповедовала эти понятия, чувства. Стоит вспомнить библейские заповеди: не убий, не укради, возлюби ближнего своего... Но вот изгнали религию из своей жизни — что же осталось? Библейские заповеди — это заповеди общечеловеческие, гуманистические, а вовсе не церковные догмы. Уничтожив старое, мы не создали нового. Вряд ли «Моральный кодекс строителя коммунизма» может претендовать на нравственный фундамент нашего бытия — слишком он напоминает инструкцию.

Недавно была свидетелем сцены, которая меня потрясла. За очередным дефицитом выстроилась длинная очередь. Как это обычно бывает, в очереди время от времени вспыхивали скандалы на тему «Вы здесь не стояли». Обстановка была накалена, и это — естественное состояние наших людей в таких обстоятельствах. И вот к прилавку стал пробираться парень с палочкой. Ему тут же начали кричать: «Куда прешь?» Он достал из кармана удостоверение участника войны и хотел пройти дальше. Что тут началось! Крики, оскорбления, ругательства. «Где ты взял эту книжку?.. Наверное, пьяного ограбил!» Когда молодой человек попытался объяснить, что он воевал в Афганистане и имеет право как инвалид не стоять в очередях, случилось то, что меня и потрясло. Кто-то громко сказал: «Вот, то старики все лезли без очереди, теперь их мало, скоро, даст Бог, совсем выпадут, так теперь еще и эти молокососы появлялись, и тоже подавай им без очереди!»

Откуда это у нас взялось — звериная жестокость друг к другу, способность передать глотку за кусок получше да место поудобней? Куда же мы идем и куда придем с такими душами?

Надо что-то делать, но что, я, честно говоря, не знаю. Может, всем миром обсудить эти вопросы?

Анна ЮДКОВА,  
Москва



...Каждый день я прихожу на работу с плохим настроением. Нет, не каждый день, конечно, но довольно часто. В моем подчинении десять человек. Значит, свое раздражение я могу сорвать на них. Потом я об этом жалею, извиняюсь, но...

Раздражение накапливается, я вижу.

как меня вдруг начинает буквально беспокоить нерасторопность моих сотрудников, чувствую, как поднимается давление. И ничего не могу с собой сделать! Вечером звонит моя мама, и я отвечаю ей резко, а потом опять же начинаю жалеть об этом. Я знаю, что и сотрудники мои меня недолюбливают.

Понимаю, что так нельзя, надо быть добре, надо прощать людям их недостатки, быть снисходительнее. Но как?

Недавно ездил в Венгрию, там все только и говорят друг другу спасибо, никто не торопится, в метро на эскалаторе люди спокойно стоят. Это было настолько непривычно мне, москвичу, — у нас ведь все несутся по эскалатору! И я тоже. И если кто-то стоит, выставив сумку (он приезжий, не знает наших «правил»), это приводит в ярость: понаехали!

Мне трудно их любить, хотя я хорошо их понимаю. Они не на экскурсию сюда приехали — за продуктами, товарами. У них этого нет. У меня у самого родственники в Пскове, они ездят к нам. Рядом Эстония — такие же земли, воздух — там все есть, а в Пскове — нет! Но псковских руководителей это не волнует: у них, думаю, независимо от состояния дел в области голова не болит о том, что и где купить или достать. Зато призывают быть добрыми и справедливыми — хоть отбавляй. Но сегодня одними призывами людей не накормишь.

Разговорился на эту тему с приятелем, а он говорит: раньше хуже жили, но добре были. Помогали больше друг другу, жалели. Но ведь и запросы были другие!..

Приятель посоветовал сходить к психиатру. Ну, нервы, может, мне и подлечат. Но стану ли я от этого добрее? И ведь я такой не один, посмотрите вокруг...

Юрий ПАВЛОВ,  
Москва



ОТ РЕДАКЦИИ

Писем, подобных этим двум, приходит в «Смену» немало. Мы выбрали эти. Они на одну тему. Да, трудно, да, многое не хватает. Но всегда ли это оправдывает нашу жестокость, черствость, озлобленность на людей? Любим повторять, мы гуманисты. Но не остаемся ли ими лишь на бумаге? Против кого мы держим камень за пазухой? Если создаются общества милосердия, значит, нам действительно не хватает милосердия.

Озлобленность не только портит нервы, но и разъедает души. Что же делать? Мы обращаемся к вам, уважаемые читатели, давайте подумаем вместе, нужно ли продолжать разговор, начатый в этих двух письмах, волнует ли вас эта тема? Пишите, ждем.

# БЕС

## ОДИН



Ирина ЛОБАНОВА

**И**скусство поп-арта (буквально — популярное искусство, или искусство для масс) привлекает все больше поклонников. Легкие, азартные песенки этого направления говорят все, что могут сказать с первых же тактов. Они понятнее неискушенному слушателю, чем размежеванный, тяжелый Бах и грустный, возвышенный Моцарт. По тем же причинам броские, рекламные, плакатные приемы успели проникнуть и в станковую картину. Ведь плакат читается до «дна» буквально за двадцать секунд, а потому он ближе ко всем убыстряющимся ритмам жизни современного человека.

Живопись, требующая созерцания, по сложности восприятия сродни симфонической музыке. Для подобного искусства нужны и время, и определенная подготовка. Если нет ни того, ни другого, оно покажется скучным, непонятным. Кого сейчас привлекают неторопливые разговоры за летним чаем в глухи тенистого сада, продолжительные беседы о душе, смысле жизни и других «эфемерных» проблемах?

Дети, подрастающие, стремятся на дискотеку, к игровым автоматам или к другой, оглашающей душу, веселительной культуре. Все меньше остается в нашей жизни чудаков, «пренебрегающих презренной пользой», все более непонятны эти чудаки, эти «прорабы духа», обществу. Сегодня искусство словно старается приблизиться к поверхностному вкусу потребителя, и общество все более приспосабливает искусство под себя.

В такое время Художнику надо обладать мужеством, чтобы противопоставить свои вкус, свое мировосприятие общепринятой моде.

Анатолий Григорян именно такой художник, умеющий мыслить, созерцать жизнь в полном ее объеме, соединяя мимолетность и вечность, современность с мироощущением далеких от нас древних культур и цивилизаций.

Конечно, трудно одному работать в подобном направлении. Нужны единомышленники. Надо, как считал Тютчев, чтобы хоть «одна душа отзо-



валась». Но эта «одна душа» неоходима.

В этом смысле Анатолию Григоряну повезло, потому что он родился в Армении, Армения, которая даже в период расцвета сухого соцреализма пятидесятых годов, оставалась верна высокой, мятежной стихии красок. Армения, на земле которой родились Е. Тетевосян и С. Суренянц, И. Айвазовский и Г. Якупов, А. Каленц и П. Контураджан, М. Сарьян и О. Зардарян... и Джотто.

Да, да — Джотто, армянский Джотто, или Георгий Григорян, прозванный своими товарищами за талант именем легендарного итальянского живописца XIII века Джотто ди Бондоне, убитого своими завистниками в церкви во время службы.

С Георгием Григоряном я познакомилась двенадцать лет назад, за несколько месяцев до его смерти. Старый, больной художник, испытавший нужду и голод, признание, забвение



и под конец жизни вновь признание. Осторожно он с помощью жены спустился, чтобы показать свои картины, в мастерскую, выделенную ему, уже Народному художнику Армении, недолго до смерти. Когда я увидела их, у меня перехватило дыхание — Джотто в самые глухие для искусства семидесятые годы возвращал своим картинам уверенность зрителю, что высокое искусство пробивается сквозь любые заслоны. Долго стояла я около картин,

# ЕДЫ ЧИЕ

Смена '88

ВЕРНИСАЖИ

плотно развесенных по стенам от пола до потолка. Вскоре, уже в Москве, я увидела его работы на выставке «Москва — Париж», проходившей в Пушкинском музее. Он не дожил до этого дня.

Но теперь, у картин Анатолия Григоряна, я вспомнила и о Георгии Джотто и о Джотто ди Бондоне. Анатолий Григорян по стилю живописи был близок итальянскому мастеру.

Что же именно напоминало великого итальянца? Возможно, драматич-

ность в изображении суровых женских лиц с их особым, углубленным в себя, мудрым взглядом. Некрасивые, почти примитивные черты лица пронизаны такой духовной энергией, что становились прекрасными. Яркие, но приглушенные, словно выбеленные солнцем краски создавали в сочетании с глухим цветом теплых теней драматизм там, где, казалось, его не могло быть: в простом ли деревенском сюжете — забор, из-за которого виден профиль проходящей женщины, или же в рисунке незамысловатой горы... Изображение горы есть, наверное, почти... нет, не почти, а, конечно же, у каждого армянского художника. Иначе и быть не может, ведь горы окружают армян с детства. И тем не менее «Гора» у Анатолия не просто этюд, это картина, наполненная глубоким содержанием. Глядя на нее, ощущаешь древность земли. Гора на его картинах словно одушевленное существо — свидетель и соучастник жизни людей. Художник передает каким-то особым загадочным приемом древность стра-

ны легендарной культуры, на гору которой — Аарат, по преданию, высился Нои.

И тем не менее Григорян современный художник. Таинственный даже в бытовых сценах. Вот вернулся из армии солдат, мы не видим его, только висит на стуле шинель, но просветленно лицо матери, удивленно — сестры и радостно — брата-подростка, вскинувшего над головой красного петуха. Петух — частый персонаж на картинах Анатолия. И это не просто деталь сельского быта. Петух на его картинах — полноправный представитель Земли, так же давно населяющий ее, как и сам человек.

Анатолий удивительно выстраивает картину не только композиционно, но и драматургически. Это, думается, не случайно, ведь он учился на факультете живописи в Ереванском театральном институте. Театр, видимо, заразил его магией драматургии.

Судьба Анатолия сложилась более счастливо, чем судьба Георгия Григоряна. Работы его уже признаны, уже хранятся в галереях стра-

ны, в том числе и Третьяковской. Они много экспонировались и за рубежом, хотя художник еще молод.

Не все работы Анатолия Григоряна равнозначны, художник пробует себя в разной исполнительской манере. Но лучшие его картины вызывают у зрителя чувство родства, чувство сопричастности человека к многогодичному проявлению жизни на земле. Человека такого маленько-го в масштабе с Великой природой и такого могучего, каким он становится в проявлении высокого духа.

Отдых

Натюрморт с клеткой

Забытые игры

Мясник

Беседа

Синие ворота

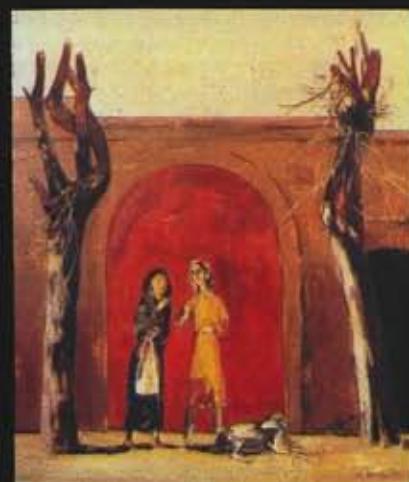


Фото Владимира ЧЕИШВИЛИ

**● Дом Дениса Давыдова — под контролем?**

**● За здоровье — платить?**

**● Место ли могиле Сталина на Красной площади?**



Не за медалями и льготами мы ехали в Афганистан, мы — добровольцы-медработники. И не для того, чтобы с гордостью потом говорить: мы были в Афганистане. По много часов выставили у операционных столов, помогали раненым, забывая о таком понятии, как начало и конец рабочего дня. Потому что иначе не могли. Потому что это наши ребята стояли от боли — наши братья, наши любимые. Работали наравне с военными врачами, так же жили, так же рисковали.

Но вот вернулись на Родину, и оказалось, что нам не полагаются удостоверения участников войны. Военным врачам и медперсоналу — полагаются, а нам — гражданским — нет. Повторяю, не в льготах дело, но получается, что мы люди второго сорта, так?

Обидно. Понимаете, обидно!

И я обращаюсь к нашему министру обороны. Товарищ генерал, справедливо ли такое отношение к нам? Мы писали вам письма, но ответов не получили. Может, вы ответите через журнал?

Алла ГРЯЗНОВА,  
Москва

Мы живем в Москве на Кропоткинской улице, в доме № 17, который принадлежал герою войны 1812 года Денису Давыдову и является архитектурным памятником, находящимся в заповедной зоне, охраняемой государством. Представьте, наше удивление, когда в одном из флигелей нашего дома расположилась организация под названием «АвтоВАЗтехобслуживание». Уже в течение года там ведутся ремонтно-строительные работы, которые не только мешают нам жить, но, самое главное, меняют архитектурный облик официально объявленной заповедной зоны центра нашей столицы.

Жители нашего микрорайона обеспокоены судьбой многих исторических памятников. В безобразном состоянии стены и надвратная церковь Зачатьевского монастыря. Во дворе дома, на стене которого имеется мемориальная доска о том, что здесь выступал В. И. Ленин, неожиданно быстро выросли уродливые боксы-гаражи, вероятно, той же станции техобслуживания. Неужели для этой организации не нашлось другого места, кроме самого центра нашей столицы, где располагаются музей А. С. Пушкина, музей Л. Н. Толстого, Академия художеств, дом Тургенева, Дом ученых? Не лучше ли в нашем доме сделать музей героя войны 1812 года, о котором давно идет речь, но не находится помещения? Неужели охрана памятников старины и исторической части нашей столицы будет «осуществляться» только на бумаге? Просим вас помочь нам разобраться в этом вопросе, так как наши обращения ни в райком партии, ни в исполнком Ленинского района Москвы не нашли поддержки.

ДРОЗДОВА,  
СОЛОВЬЕВА,  
ПОПОВА,  
ФАТИНА,  
Москва

Мне показалось, что в статье Александра Бойко «Сердца четырех» («Смена» № 10) есть намек на то, что государство зря оплачивает больничные листы, поскольку люди сами не заботятся о своем здоровье. Тем не менее для меня, например, болезнь — это отдох и праздник, так как можно отключиться от производственных проблем, больше внимания уделить семье, чтению, ТВ. (Болею я редко.) Я заботлюсь о своем здоровье, регулярно посещаю бассейн, зимой по выходным — лыжи. Однако уверена, что по параметрам здоровья я ближе к Служащему и Журналисту, чем к Пенсионеру. И, наверное, это закономерно: более основательную заботу о здоровье приходится откладывать до пенсии, так как совсем не остается времени.

В прессе встречала предложение премировать людей, заботящихся о своем здоровье; иностранные фирмы увеличивают неболевшим людям продолжительность отпуска. У меня есть другое предложение. Если человек квартал не пользовался больничным листом, следующий квартал — как поощрение — разрешить ему три раза в неделю приходить на работу на час позже или уходить на час раньше.

Некоторые скажут: сокращение рабочего дня невыгодно. Но это еще надо посчитать. Ведь пропущенные в результате предлагаемого мной порядка часы будут в сумме меньше возможных пропущенных по больничным листам. Такой порядок должен привести и к росту производительности труда. И это даст возможность заниматься физкультурой, восстановить силы.

Слишком долго и часто мы хотели получить результат без каких бы то ни было затрат: качество продукции — без нового оборудования, чистую окружающую среду — без затрат на очистные сооружения и т. д. Думаю, здоровье людей стоит предлагаемых затрат. Кто возьмется провести эксперимент?

В. ЛЫСЕНКО,  
Москва

Мы, жители селения Халимбекаул, решили рассказать о наболевших проблемах.

Селение наше расположено в окружении невысоких гор, живет в нем пять тысяч человек, строится много новых домов.

Строит на окраине селения асфальтовый завод, построенный после землетрясения 1975 года, как говорили, временно. Черные клубы дыма ежедневно (кроме выходных) плывут над домами, копоть оседает на сады и огорода и, уж конечно, в наших легких. После критической публикации в «Крокодиле» (№ 35 за 1987 год) Буйнакский РК КПСС принял решение о закрытии завода до установки фильтров, но завод по-прежнему работает. Наши дети, постоянно вдыхающие эту копоть, пора серьезно обследовать. Впрочем, это тоже не просто сделать, так как Халимбекаул прикреплен к поликлинике, расположенной от нас в шестнадцати

километрах, в поселке Черкей. Уж какое там обследование! Чтобы получить справку, надо потратить целый день. А ведь мы живем в трех километрах от районного центра — города Буйнакска и лечиться было бы удобнее там. Правда, пока между селением и Буйнакском ходит всего один автобус, и многие работающие в городе добираются до работы пешком или на попутных.

Очень плохо у нас со снабжением водой. До сих пор совхоз не проводит водопровод: воду целая улица получает от временного водопровода птицефабрики, летом ее совсем не бывает. А жара у нас тридцать, а то и сорок градусов. Как жить без воды?

Написали мы обо всем этом потому, что уверены — все эти проблемы, которые отравляют нам жизнь в буквальном и переносном смысле, не требуют сверхъестественных усилий и больших затрат, нужно только подумать о людях и навести порядок.

ИДАЛЕВЫ, АСКЕРОВЫ, ГАДЖИЕВЫ,  
МАГОМАЕВЫ, ИДРИСОВЫ и др.,  
Дагестанская АССР

Красная площадь... Что может быть еще ближе и роднее? Читавшаяся в славные имена на гранитных плитах: Фрунзе, Дзержинский... А рядом с ними — Сталин, неподалеку — Вышинский.

Как? Могила человека, умертившего целую плеяду талантливых полководцев (в том числе и моего прадеда, генерал-лейтенанта пограничных войск Михаила Константиновича Войтенкова), — могила Сталина в пяти шагах от Мавзолея Ленина! Праведный суд над некоторыми пособниками тирана свершился. Наказан Берия. Но прах палача Вышинского до сих пор соседствует с нишами, где покоятся прах истинных борцов, истинных героев-коммунистов: Л. Красина, А. Луначарского, Н. Крупской.

В пионеры меня принимали на Красной площади. Стоя перед Мавзолеем, мы клялись любить Родину. Но я не мог представить тогда, что площадь, на которой нам повязывали красные галстуки, хранит не только тело величайшего гуманиста, но и тело величайшего тирана.

Я предлагаю: так как имена Сталина и Вышинского оскверняют дорогую для каждого советского человека Красную площадь, изъять урны с их прахом. После изъятия не подвергать их дальнейшему захоронению. Они — преступники. При жизни они не были наказаны. Так пусть суд вершится над ними, мертвими. Они не достойны земли, земли, которую сами осиротили.

На могиле Сталина водрузить гранитную стелу: «Здесь с 1957 по 1988-й было погребено тело великого палача народа Иосифа Виссарионовича Сталина (Джугашвили)». И подробный перевес его преступлений. Над пустой нишей Вышинского также поставить стелу, поменьше — с перевесом его злодеяний.

Думаю, что к моим предложениям присоединятся все те, в чьих судьбах остался неизгладимый след от сталинских репрессий, те, чьи родных, близких навсегда унес в ночь «черный воронок».

Александр ВОЙТЕНКОВ,  
14 лет, Москва

Предлагаю перед праздником Октября провести всесоюзную неделю трезвости (включая и праздничные дни). Это отвечало бы духу нашего револю-

ционного времени и согласовывалось с антиалкогольной политикой партии. Пусть в эту неделю в магазинах не продают спиртное, но в изобилии будут соки и фрукты. Можно таким образом подготовиться и создать праздничное настроение без вина и водки.

Всесоюзная неделя трезвости сыграет, на мой взгляд, серьезную роль в антиалкогольной пропаганде, поможет движению за всенародную трезвость. Конечно, не все будут довольны моим предложением, но ориентироваться надо на людей, ведущих здоровый образ жизни, а не на тех, кто выстает очереди за вином.

Михаил ЛУНЕВ,  
Гагра



В 1979 году моя дочь поступила в Астраханский медицинский институт, и в сентябре первокурсники поехали в колхоз. Через три дня ноги у нее покрылись сыпью — аллергическая реакция на помидоры, но домой ее не отпускали, не освободили даже от работы в поле. Отпустили только через 10 дней, когда ранки инфицировались, ноги отекли, распухли, чулки прилипали к ногам вместе с сапогами...

«На память» об этом единственном «студенческом» колхозном поле у нее осталась аллергическая астма — до сей поры. Сейчас моя дочь ни на один день не в состоянии расстаться с астмопентом. Кому я должна сказать спасибо за то, что в течение 10 дней она потеряла здоровье? Кто сможет утешить родителей, чьи дети по разным причинам ежегодно гибнут в колхозах?

Я, как и многие тысячи родителей, готова отказаться от этих помидоров, которые оплачены здоровьем, а иногда и жизнями наших детей.

З. ШУЛЬГИНА,  
Астрахань



Волею судьбы мне довелось «показаться» по Союзу в арестантской робе. Довелось видеть масштабы столь зоркого явления, как гомосексуализм.

В уголовной среде процветает такая мера наказания, как «плата натурой» (за проигрыш в карты и невозмещение ущерба, за личное оскорблечение словом и пр.). В колониях существуют целые бараки педерастов (в каждом — 100—150 человек). Страшно представить, сколько мужчин путем грубой силы становятся «женщинами».

Знает ли об этом администрация? Безусловно. Более того, использует в «воспитательных» целях такой прием: «Не сделаешь то-то и то-то, переведу к «девочкам».

Сам неоднократно был свидетелем такой картины: лязгают запоры, открывается массивная дверь, и через порог «бетонного мешка» перешагивает новенький. Отпетые уголовники оживляются. Спрыгивают с нар. Внимательно изучают гостя. А тот испуганно переминается с ноги на ногу. За какую-то привинность на него завели дело и на время следствия бросили в общую камеру.

Наконец слышны реплики: «О-о, да он молоденький!» Другой вторит: «А симпатия! Точь-в-точь, как моя первая любовь... Все. Новенький обречен. Через день-два он уже «Маша»... В момент экзекуции не достучишься в массивную дверь — дежурный в звании прaporщика или сержанта с чувством исполненного долга спит на стульях в конце коридора... Какое уж тут воспитание или исправление?

В. СКВОРЦОВ,  
Кинешма

# ВЕРА ЗУБАРЕВА



Я не скучаю о своей молодости и радуюсь молодости других — мне не хотелось бы провиниться перед ними.

Время, когда начиналась моя литературная жизнь, обнаруживало и посыпало новые имена и предавало их быстрой и шумной огласке. Кроме общих обстоятельств времени, мне сопутствовала пылкая доброжелательность старших маститых коллег. Лишь много позже я поняла, что видимая поблажка судьбы на самом деле была важным и суровым испытанием. Тех, кто щедро и настичительно помогал мне да и всем, кто попадался на добрые их глаза, давно нет на свете. Сумно ли я посмотреть их любовным и охвающим взглядом на тех, кто молод, я Веру Зубареву, например?

Сначала я увидела ее стихи, воображение соотнесло их с морем и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и, несомненно, ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и моря.

И сама милая Вера очень понравилась мне! Я верю, что она слышит голос своей звезды, предвещавший удачу, но оберегающий от суеты, вздора, поспешности. Ее стихи — изъявление ясной и суверенной души, грациозно существующей в осознанном пространстве. Чудесно, что Вера живет в Одессе!

Само имя города кажется мне неопровергимо счастливой приметой.

Белла АХМАДУЛИНА

## НОЧНЫЕ ПТИЦЫ

Ночные птицы, сумрачные птицы —  
Знаменья убыли, бессрочности,  
ущерба.

Вы суеверий и предчувствий мышцы,  
Что движут необум, воплощаются

в небо.  
Ночные страхи, участи, желанья,  
Цвет будущности, что с оттенком

скорби  
В часы, когда свободно подсознанье.  
Разносится по руслу крови.

Из ночи в ночь — вот ваши перелеты.  
Вам климат дня грозит

искониженением.  
С собою, чтобы смягчить кочевья

ноты,  
Несете родину — под черным

опереньем.

■  
А разбойничья звезда  
Нам — как удаль, вам — как мэда.  
А дорога удалая —  
Вдоль которой наша стая,  
Наши братия шальная —  
Не прорвется. Никогда.  
Режем по диагонали  
Ваши выспренние дали.  
Кто придержит прыт?  
То, что нам вдогонку дали,—  
И не нужно, и не взяли,  
Чтобы легче плыть.  
Кто же мы? Не воронье ли?  
Дети ночи, дети воли.  
А зови — хоть так,  
Все равно, что наши роли  
Искажит однажды в школе  
Книжник и простак.

## ВОЛКИ

■  
Я думаю, ты все же постучишься.  
Ближайшее соседство — за версту.  
А вечер погрузил мое жилище  
Почти по окна в темень и листву.  
Сплзает со столба лианы провод.  
И в лампе на исходе керосин,  
И это ли не долгожданный повод,  
Чтоб постучать без видимых причин?  
Невесело, запущено и дико  
Мой дом прозрачествует из земли.  
И вытоптаны кем-то ежевика,  
Которую собрать мы не смогли.  
А слева от чернеющей дорожки  
Наткнувшись ты, когда придешь ко  
мне,  
На скользкое негодное лукошко,  
Где ягоды прогнившие на дне.  
Тут без труда я приручила волка —  
Все оттого, что сходно с ним живу.  
Его глаза — зеленых два осколка —  
Пускай сверкают по ночам во рву.  
Хоть изредка скорблю, что не  
волчица,  
Но не ропщу. Что, думаю, с того, —  
В конце концов, ведь кто-то  
постучится —  
В твоем обличье он, иль ты — в его...

■  
Уже декабрь. Тверда земля в саду.  
Ее свело морозами без снега.  
Печально, у растений на виду  
Замерзло детство позднего побега.  
Все ночи так привычно холодны,  
Что забываю с готовностью на холода.  
Как забываю многое — и город.  
И прежний ракурс ледяной луны.  
У маленького низкого окна  
Стулюсь, скав концы платка  
локтями.  
И мне — то ночь безбрежная видна,  
То я сама в оконной дряхлой раме.  
Там продолжает комнаты моя  
Свое житье-бытье полупрозрачно  
И тонет в перспективе декабря,  
И в ночь прозрачествует многозначно,  
И в отраженный дом помещены  
деревья, ров у сломанной калитки.  
И тощий волк, что воет вдоль луны,  
Претерпевая полнолуния пытки.  
И я стулюсь посередине дорог,  
Озвученных той литургии волчьей,  
И в руки, в плечи с каждой новой

ночью

Врастает серый подранный платок.

■  
Да, пишу. Негодная хозяйка.  
Я не запасла на зиму дров.  
Чаще стынет ручка-наливайка,  
Ставя кляксы на начала слов.  
  
В том ли грусть, что буква исказится,  
Что дрожит чернильная строка?  
Ты еще когда прийти решился,  
А все медлишь, будто жизнь —  
долга.  
  
Что ж ты медлишь? Иль боишься  
волка,  
Что на перепутье двух миров  
С первоисточником чувством злого  
долга  
Ни на миг не покидает ров?

# ЕКАТЕРИНА ШЕВЕЛЕВА



■  
Все было так, как быть должно,  
а не иначе.  
Ведь жребий, если суждено,  
не однозначен.

Не разомкнуть кольцо времен,  
но ближе к лету  
мир был безвыходно влюблен  
в случайность эту.

Как было просто избегать  
и расставаться.  
Как было просто отвергать,  
но оставаться.

Как одиноки эти дни,  
случайны ночи.  
Ночь плачет над тобой в тени,  
в день хочется.

Есть ветер вдоль и снег в лицо,  
как звук смеха.  
Дневное серое лицо  
на фоне снега.

О! Не измерить глубины  
того, что было.  
Судьбы, беды или вины,  
что нас смешила.

Весной восторжествует свет,  
прозрачно-синий,  
и примет жизнь обычный цвет  
и ясность линий.

■  
Это город, в котором  
мы смешились с толпою, —  
это город, в котором  
не столкнуться с тобой

где-то на перекрестке,  
где-нибудь, как-нибудь.  
Город в летней известке.  
Привокзальная муть.

Кирпичом и бетоном  
годы утверждены.  
Это город, в котором  
мы разъединены.

■  
Как мы хотим сорвать  
наш певчий голос.

Как мы хотим взорвать — долой  
все стены.

Как мы хотим сорвать румяность  
масок,

чтобы воочию увидеть пустоту.

Как мы хотим сорвать,  
чтобы поверить,  
ведь наши песни —

жажды перемены,  
реальность — вымысел  
последних проходящих

и город изобилует враждой.

Хотим забыть про торжество  
вселенской —  
иное торжество песок и пепел,  
а вечная свобода — это просто  
закономерность ветра и дождя.

Но есть деревья, знающие больше,  
есть травы выше самых  
лучших мыслей,

есть многое, что больше нас  
во многом,  
есть высшее, как море или ночь.

Но город изобилует насилием,  
борьбой и гибелью, которая  
не выход,

а только переход в опустошенье.

Немилосердна неба немота,  
когда глаза закрыты снам  
вчерашним  
и нынешним безропотным глазам.

Рисунки Олега ТУРКОВА



Перец перелез в кузов и долго шел к заднему борту, с грохотом и звоном ступая по дну этого необыкновенного стального корыта в густой лунной тени, потом вскарабкался на борт и по одной из бесчисленных лесенок спустился до самой воды. Некоторое время он, набираясь решимости, висел над ледяной жижей, а затем, когда в бронеавтомобиле снова ударили из пулемета, зажмурился и прыгнул. Жизнь стала расступаться под ним и расступалась долго, долго-долго, и не было этому конца, и, когда он почувствовал под ногами твердь, грязь затопила его по грудь. Он налег на грязь всем телом, он толкал ее коленями и отталкивался ладонями, и сначала он только бился на месте, а потом приспособился и пошел, и, к своему удивлению, очень быстро оказался на сухом месте.

Хорошо бы где-нибудь отыскать людей, подумал он. Для начала просто людей — чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов. Не надо потрясающих целей и самоотвращения. Пусть они просто всплеснут руками, увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнить ванну, и кто-нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, и чтобы никто не спрашивал документы и не требовал автобиографию в трех экземплярах с приложением двадцати отпечатков пальцев, и чтобы никто-никто не бросался к телефону сообщить куда следует значительным шагом, что-де появился неизвестный, весь в грязи, называет себя Перецом, но только вряд ли он Перец, потому что Перец убыл на Материк и приказ об этом уже отдан и завтра будет вывешен... Не нужно еще, чтобы они были принципиальными сторонниками или противниками чего-нибудь. Не нужно, чтобы они были принципиальными противниками пьянства, лишь бы сами не были пьяницами. Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, какой он есть... Боже мой, подумал Перец, неужели я хочу так много?

Он вышел на дорогу и долго брел на огни Управления. Там неустанно вспыхивали прожектора, метались тени, поднимался разноцветный дым. Перец шел, и в его ботинках ворчала и хлюпала вода, подсохшая одежда стояла коробом и шуршила, как картон, время от времени со штанов отваливались пластины грязи и шлепались на дорогу, и каждый раз Перецу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман, а когда он подходил уже к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали неразборчивы и неправильно подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все

пропуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода испортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что «предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах». Тогда он снова уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно асигнациями, и пошел было дальше, но тут представил себе, как выходит на главную улицу и люди в картонных масках и косынках прилепленных бородах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то понюхать, и приказывают: «Ищи! Ищи!», и говорят: «Запомнили запах, сотрудник Перец?», и насыкают: «Шерше, дура, шерше!» И, представив себе все это, он, не останавливаясь, свернулся с дороги и побежал, пригибаясь, к складу техники, нырнул в тень огромных светлых ящиков, запутался ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и паклей.

Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стены ящиков были горячими на ощупь, и это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. В ящиках было тихо, но он вспомнил рассказ о машинах, самостоятельно вылезающих из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя жизнь, и не испугался, а даже, наоборот, почувствовал себя в безопасности. Он сел поудобнее, снял сырье ботинки, снянул мокрые носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так уютно, что он подумал: странно, неужели я здесь один? Неужели никто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, нежели ползать по пустырям с завязанными глазами или торчать в смердящем болоте? Он прислонился спиной к горячей фанере, и упер босые ноги в горячую фанеру напротив, и почувствовал, что ему хочется мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-то доносились гул, треск, рев моторов, но это его нисколько не касалось.

Хорошо бы здесь оставаться навсегда, подумал он. Раз уж мне не уйти на Материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины! Все мы машины. Только мы испорченные машины или плохо отлаженные.

...Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий — Октавиан Домарошинер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, лишенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же и структура не белковая, опять же и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам, а значит, и разум... Тут на трибуну взобрался интеллектуал — лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и рыдающе произнес: «Я не могу... Я не хочу этого... Розовое дитя, играющее погремушечкой... Плакучие ивы, склоняющиеся к пруду... девочки в беленьких фартучках... Они читают стихи... они плачут... плачут!.. Над пре-

красной строкой поэта... Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза... эти губы... эти юные робкие перси... Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я... потому что мы... Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Никогда!! Никогда!!! К нему потянулись со стаканом воды, а в четырехстах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертвое, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой...

Я тоже этого не хочу, подумал Перец, но нельзя же быть таким глупым дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвращению зимы, шаманить, ножрать мухомора, бить в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки шить шубы и покупать валенки... Впрочем, этот седовласый опекатель робких персей покричит-покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь электронной громадине и станет мазать ее шестеренки, искательно заглядывая в циферблты и почтительно хихикая, когда его долбает током. Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, боже, спаси нас от умных дураков в картонных масках...

— Я думаю, это у тебя сны, — произнес где-то на верху добродушный бас. — Я по себе знаю, от снов иногда бывает очень неприятный осадок. Иногда даже наступает словно бы паралич. Невозможно двигаться, невозможно работать. А потом все проходит. Надо бы тебе поработать. Почему бы тебе не поработать? И все осадки растворятся в удовольствии.

— Ах, да не могу я работать, — возразил капризный, тонкий голос. — Мне все надоело. Всегда одно и то же — железо, пластмасса, бетон, люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен, а я сижу на одном месте и умираю от скуки.

— Взяла бы да переменила место, — проскрипел издалека какой-то сварливый старик.

— Легко сказать — перемени место! Вот я сейчас не на месте, и все равно мне тоскливо. А как трудно было уйти!

— Ну, хорошо, — сказал рассудительно бас. — А что тебе хочется? Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется работать?

— Ах, как вы не понимаете? Я хочу жить полной жизнью. Я хочу увидеть новые места, получать новые впечатления, ведь здесь все одно и то же...

— Отставить! — рявкнул оловянный голос. — Болтовня! Одно и то же — это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите!

— Ах, да ну вас с вашими командами...

Разговаривали, несомненно, машины; Перец не видел их и никак не мог их себе представить, но ему чудилось, будто он притаился под прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот истерический тонкий голосок принадлежал, конечно, пятиметровой кукле Жанне. На ней было пе-

Аркадий Стругацкий  
Борис Стругацкий  
**НА СКЛОННЕ**

стое платье из тюля, и у нее было толстое розовое неподвижное лицо с закаченными глазами, толстые, нелепо распояренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом говорил медведь, исполинский Винни Пух, едва умещающийся в контейнере, незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый, со стеклянными глазами-пуговицами. И остальные были игрушками, но Перец еще не мог понять, какими.

— Я полагаю, что следует все-таки тебе поработать, — проворчал Винни Пух. — Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, которым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. Ему очень хочется работать. Но он сидит здесь и думает днем и ночью, потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто не слыхал от него никаких жалоб. Однообразная работа — это тоже работа. Однообразное удовольствие — это тоже удовольствие. Это еще не причина для разговоров о смерти и тому подобном.

— Ах, вас не поймешь, — сказала кукла Жанна. — То у вас сны всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствия. Я места себе не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв и я вся разлечусь на мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела...

— Отставить! — грянул оловянный голос. — Не терплю! Что вы знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью и под любым углом. И тот, кому надо, достанет вас с любого расстояния, и это будет настоящий взрыв а не какой-нибудь интеллигентский пар. Но разве тот, кому это надо, — я? Никто этого не скажет, а если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? Повторите.

Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был наверняка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенностью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через подставленный ботинок.

— Я не знаю, что вы имеете в виду, — сказала кукла Жанна. — Но если я и прибежала сюда, к вам, к единственным близким мне существам, то это, по-моему, еще не означает, что я намерена ради чьего бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то углами. И вообще прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю... А если речь идет о работе, то я не больная, я существа нормальное, и мне удовольствия нужны, как и всем вам. Но это не настоящая работа, какое-то фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего, а его нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело, а когда начинаю думать, то додумываюсь до одних глупостей... — Она всхлипнула.

— Н-ну... — пробасил Винни Пух. — В общем-то да...

— Все правильно! — заметил новый голос, очень звонкий и веселый. — Девочка права. Настоящей работы нет.

— Настоящая работа, настоящая работа! — ядовито прошипел старик. — Вокруг целые рудники настоящей работы. Эльдорадо! Копи царя Соломона! Вон они ходят вокруг меня со своими больными внутренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами,

с аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но таким увлекательным кариесом, наконец! Давайте говорить откровенно. Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело, может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают неизвестное поле, но когда они находятся рядом со мной, у меня начинается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня страждует наслаждения, тягнется схватить и сделать необходимое, сладостное, желанное, а другая впадает в прострацию и забывает все вечными вопросами: а стоит ли, а зачем, морально ли это... Вот вы, я про вас говорю, вы что, работаете?

— Я? — сказал Винни Пух. — Конечно... А как же?.. Странно даже от вас слышать, не ожидал. Я кончало проектирование вертолета и потом... Ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач, это было такое наслаждение... По-мому, у вас нет оснований сомневаться, работаю ли я.

— Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь, — прошипел старик. (Гнусный такой тряпичный старишкаша, не то гоблин, не то астролог — в черной плюшевой мантии с золотыми блестками.) — Вы мне только скажите, где этот тягач?

— Н-ну... Не понимаю даже... Откуда я знаю? И какое мне дело? Сейчас меня интересует вертолет...

— Об этом и речь! — сказал Астролог. — Вам ни до чего нет дела. Вы всем довольны. Вам никто не мешает. Вам даже помогают! Вот вы разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия, и люди сейчас же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслаждались бы по большому счету. А вот вы спросите его, помогают ему люди или нет...

— Мне? — взревел Танк. — Дерьмо! Отставьте! Когда кое-кто выходит на полигон и решает немного размяться, продлить удовольствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикальную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от которого становится противно и любой впадает в расстройство. Но разве я сказал, что этот любой я? Нет! Этого вы от меня не дождитесь. Ясно? Повторите!

— И я, и я тоже! — затрещала кукла Жанна. — Сколько раз я уже думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? А они, по-моему, не имеют. Наверное, их нет, это просто галлюцинации. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней части, из верхней части, из середины, никакое другое существо не несет в себе столько объектов наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существования?

— Да бросьте вы усложнять! — сказал звонкий веселый голос. — Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не всегда, конечно, но вот представьте себе сад. Пусть это будет сколь угодно прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет закончен. Хоть один вид людей должен обязательно оживлять его. Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые никогда не ходят, а только бегают и бросают камни... как средние люди, рвущие цветы... все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бегают на четырех конечностях. Сад без них не сад...

— Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу, — заявил Танк. — Вздор! Сады ухудшают видимость, а что касается людей, то кое-кому они мешали беспрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать просто нельзя. Во всяком случае, стоит кому-нибудь дать ха-арозий залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе, но если бы кто-нибудь и сказал это обо мне, разве стали бы вы возражать?

— Что-то вы в последнее время много говорите о людях, — сказал Винни Пух. — С чего бы ни начался разговор, вы обязательно сворачиваете на людей.

— А почему собственно и нет? — сейчас же взъелся Астролог. — Вам-то что до этого? Вы оппортунисты! А если нам хочется говорить, то мы и будем говорить. Не спрашивайте у вас разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста, — грустно сказал Винни Пух. — Просто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о наслаждении, о замыслах, а теперь я отмечаю, что люди начинают занимать все большее место в наших разговорах, а значит, и в мыслях.

Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться

бесшумно, переменил позу — лег на бок и поджал колени к животу. Винни Пух не прав. Пусть они говорят о людях, пусть они как можно больше говорят о людях. Они, по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголет истина. Когда люди сами говорят о себе, они либо баюкаются, либо каются. Надоело...

— Вы все достаточно глупы в своих суждениях, — сказал Астролог. — Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я достаточно объективен, чтобы сопереживать удовольствиям моих товарищей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно. Сопереживаю. Но скажите на милость, при чем здесь люди? При чем здесь люди, которые поднимают ножку, возле деревьев, или те, которые делают это иным способом? Я ощущаю здесь нездоровое эстетство. Это как если бы, оперируя гланда, я для полноты удовольствия требовал, чтобы оперируемый был при этом замотан в цветную тряпку...

— Просто вы суховаты по натуре, — заметил Садовник. Но Астролог не слушал его.

— Или вот вы, — продолжал он, — вы постоянно размахиваете своими бомбами и ракетами, вы рассчитываете упреждения и балуетесь с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих товарищах, обо мне, например. Сшивать раны! — произнес он мечтательно. — Вы представить себе не можете, что это такое — сшивать хорошую рваную рану на животе...

— Опять о людях, опять о людях, — сокрушенно сказал Винни Пух. — Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой связи для меня совершенно неясна... если не считать вас, доктор, для кого люди являются необходимым источником удовольствия... Вообще все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора...

— Отставить! — прорычал Танк. — Пора еще не настала.

— Ч-то? — спросил Винни Пух рассеянно.

— Пора еще не настала, говорю я, — повторил Танк. — Некоторые, конечно, неспособны знать, настала пора или нет, некоторые — я не называю их — не знают даже о том, что такая пора должна настать, но кое-кто знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, когда по людям, находящимся внутри сооружения, стрелять будет не только можно, но даже и нужно! А кто не стреляет — тот враг! Преступник! Уничтожить! Ясно? Повторите!

— Я догадываюсь о чем-то подобном, — неожиданно мятгим голосом произнес Астролог. — Рваные раны... Газовая гангрена... Радиоактивный ожог третьей степени...

— Все они призраки, — вздохнула кукла Жанна. — Какая тоска! Какая печаль!..

— Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях, — сказал Винни Пух, — то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. Попытаемся рассуждать логически...

— Одно из двух, — сказал новый голос, размеженый и скучный. — Если упомянутая связь существует, то доминантные являются либо они, либо мы.

— Глупо, — сказал Астролог. — При чем здесь «либо»? Конечно, мы.

— А что такое «доминантный»? — спросила кукла Жанна несчастным голосом.

— Доминантный в данном контексте означает превалирующий, — пояснил скучный голос. — Что же касается самой постановки вопроса, то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся рассуждать логически.

Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец Винни Пух не выдержал и спросил: «Ну?»

— Я не уяснил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически? — сказал скучный голос.

— Да, да, собираемся, — загомонили машины.

— В таком случае — принимая существование связи как аксиому — либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и они мешают вам действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны быть устранины, как устраниется любая помеха. Если вы для них, но вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны быть устранины, как устраниется всякий источник неудовлетворительного положения вещей. Это все, что я могу сказать по существу вашей беседы.

Никто больше не произнес ни слова, в контейнерах послышалась возня, скрип, щелканье, словно огромные игрушки устраивались спать, утомившись разговором, и еще чувствовалась повисшая в воздухе всеобщая неловкость, как в компании людей, которые долго

болтали языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко. «Влажность что-то поднимается», — прошептал вполголоса Астролог. «Я уже давно заметила, — пропищала кукла Жанна. — Так приятно: новые цифры...» «И что это у меня питание баражлит, — проворчал Винни Пух. — Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на двадцать два вольта?» «Ничего у меня нет! — отозвался Садовник. Потом послышался треск, будто отирали фанеру, механический свист, и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, движущееся, ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между ящиками, он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на цыпочках в лунный свет и, сорвавшись, побежал к дороге. Он бежал из всех сил, и ему все казалось, что десятки странных нелепых глаз провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, беззащитный на открытой всем ветрам равнине, и смеются, что тень его гораздо больше его самого и что он от страха забыл надеть ботинки и теперь думать боится вернуться за ними.

Он миновал мост через сухой овраг и уже видел перед собой окраинные домики Управления, и уже почувствовал, что задыхается и что босым пальцам нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда сквозь шум собственного дыхания услыхал позади дробный топот множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался из последних сил, не чувствуя под собой земли, не чувствуя своего тела, отплевывая липкую слюну, ничего больше не соображая. Луна маялась рядом с ним над равниной, а топот приближался и приближался, и он подумал: все, конец, и топот настиг его, и кто-то огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неистовом ритме выбрасывая длинные голые ноги, и Перец увидел, что это человек в футболке с номером «14» и в белых спортивных трусах с темной полосой, и Перецу стало еще страшнее. Множественный топот за его спиной не прекращался, слышались стоны и болезненное вскрикивание. Бегут, подумал он истерически. Все бегут! Началось! И они бегут, только поздно, поздно, поздно!..

Он смутно видел по сторонам коттеджи главной улицы и чьи-то замершие лица, и он все старался не отстать от длинноногого человека номер «14», потому что не знал, куда надо бежать и где спасение, а может быть, где-нибудь уже раздают оружие, а я не знаю — где, и опять окажусь в стороне, но я не хочу, не могу быть сейчас в стороне, потому что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже мои враги...

Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним, и перед его глазами мелькнул квадратный флагок в шахматную клетку, и раздались одобрительные возгласы, и кто-то знакомый побежал рядом, приговаривая: «Не останавливайтесь, не останавливайтесь...» Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи атласный халат. Раскатистый радиоголос произнес: «Вторым пришел Перец из отдела Научной охраны, со временем семь минут двенадцать и три десятых секунды... Внимание, приближается третий!»

Знакомый человек, оказавшийся Проконсулом, говорил: «Вы просто молодец, Перец, я никак не мог ожидать. Когда вас объявили на старте, я хотела, а теперь я вижу, что вас необходимо включить в основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к двенадцати извольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас пушу за слесарные мастерские... Не спорьте, с Кимом я договорюсь». Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных в картонных масках. Неподалеку подбрасывали в воздух и ловили длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под самую луну, прямой как бревно, прижимая к груди большой металлический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «Финиш», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий-Октавиан Домарощинер в строгом черном пальто и с повязкой «Гл. судья» на рукаве. «...И если бы вы бежали в спортивной форме, — бубнил Проконсул, — можно было бы засчитать вам это время официально». Перец отодвинул его локтем и на подгибающихся ногах побрел сквозь толпу.

...Чем потеть от страха, сидя дома, — говорили в толпе, — лучше заняться спортом.

То же самое я только что говорил Домарощинеру. Но дело здесь не в страхе, вы заблуждаетесь. Следовало упорядочить беготню поисковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с пользой...

— А чья затея? Домарощинера! Этот своего не упустит. Талант!..

— Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно выполнять в кальсонах свой долг, это почетно. Но соревноваться в кальсонах — это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом писать...

Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его тошило, болела грудь, и он представлял себе, как те, в ящиках, вытянув металличес-

кие шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силился понять, какая существует связь между ними и деятельности этой толпы, и понять, конечно, не могут, и то, что служит у них источником терпения, уже готово иссякнуть...

В коттедже Кима было темно и плакал грудной ребенок.

Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были темными, а внутри кто-то ходил с потайным фонарем, и Перец заметил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выглядывающие наружу.

Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с толстым дульным тормозом, а на противоположной стороне улицы дрогорал сарай и по пожарищу бродили озаренные багровым пламенем люди в картонных масках с миноискателями.

Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Перец не сопротивлялся, ему было все равно. Она была вся в черном, рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. Алевтина, подумал Перец. Вот она и дождалась своего часа, подумал он с откровенным бесстыдством. А что тут такого? Ведь ждала же. Непонятно, почему, непонятно, на что я ей сдался, но ждала именно меня...

Они вошли в дом, Алевтина зажгла свет и сказала:

— Я тебя здесь давно жду.

— Я знаю, — сказал он.

— А почему же ты шел мимо?

«В самом деле, почему? — подумал он. — Наверное, потому, что мне было все равно».

— Мне было все равно, — сказал он.

— Ладно, это неважно, — сказала она. — Присядь, я сейчас все приготовлю.

Он присел на край стула, положив руки на колени, и смотрел, как она сматывает с шеи черную шаль и вешает ее на гвоздик, — белая, полная, теплая. Потом она ушла в глубь дома, и там загудела газовая колонка и заплескалась вода. Он почувствовал сильную боль в ступнях, задрал одну ногу и посмотрел на босую подошву. Подушечки пальцев были сбиты в кровь, и кровь смешалась с пылью и засохла черными корочками. Он представил себе, как опускает ноги в горячую воду и как сначала это очень больно, а потом проходит и наступает успокоение. Буду сегодня спать в ванне, подумал он. А она пусть иногда приходит и добавляет горячей воды.

— Иди сюда, — позвала Алевтина.

Он с трудом поднялся — ему показалось, что у него сразу болезненно заскрипели все кости, — и прихрамывая пошел по рыхлому ковру к двери в коридор, а в коридоре — по черно-белому ковру в туличок, где дверь в ванную была уже распахнута, и деловито гудело синее пламя в газовой колонке, и блестел кафель, и Алевтина, нагнувшись над ванной, выссыпала в воду какие-то порошки. Пока он раздевался, сдирая с себя задубевшее от грязи белье, она взбила воду, и над водой поднялось одеяло пен, выше краев поднялась белоснежная пена, и он погрузился в эту пену, закрыл глаза от наслаждения и боли в ногах, а Алевтина присела на край ванны и, ласково улыбаясь, глядела на него, такая добрая, такая приветливая, и не было сказано ни единого слова о документах...

Она мыла ему голову, а он отплевывался и отфыркивался, и думал, какие у нее сильные, умелые руки, совсем как у мамы, и готовит она, наверное, так же вкусно, как мама, а потом она спросила: «Спину тебе потереть?» Он похлопал себя ладонью по уху, чтобы выбрать воду и мыло, и сказал: «Ну, конечно, еще бы!..» Она продрала ему спину жесткой мочалкой и включила душ.

— Подожди, — сказал он. — Я хочу еще полежать просто так. Сейчас я эту воду выпущу, наберу чистую и полежу просто так, а ты посиди здесь. Пожалуйста.

Она выключила душ, вышла ненадолго и вернулась с табуреткой.

— Хорошо! — сказал он. — Знаешь, мне никогда еще не было здесь так хорошо.

— Ну вот, — улыбнулась она. — А ты все не хотел.

— Откуда же мне было знать?

— А зачем тебе все обязательно знать заранее?

Мог бы просто попробовать. Что ты терял? Ты женат?

— Не знаю, — сказал он. — Теперь, кажется, нет.

— Я так и думала. Ты, наверное, ее очень любил.

Какая она была?

— Какая она была... Она ничего не боялась. И она была добрая. Мы с нею вместе бредили про лес.

— Про какой лес?

— Как — про какой? Лес один.

— Наш, что ли?

— Он не ваш. Он сам по себе. Впрочем, может быть, он действительно ваш. Только трудно себе представить это.

— Я никогда не была в лесу, — сказала Алевтина.

— Там, говорят, страшно.

— Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться непонятного, тогда все было бы просто.

— А по-моему, просто не надо выдумывать, — сказала она. — Если поменьше выдумывать, тогда на свете не будет ничего непонятного. А ты, Перец, все время выдумываешь.

— А лес? — напомнил он.

— А что лес? Я там не была, но попади я туда, не думаю, чтобы очень растерялась. Где лес, там тропинки, где тропинки, там люди, а с людьми всегда договариваться можно.

— А если не люди?

— А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, с людьми не пропадешь.

— Нет, — сказал Перец. — Это все не так просто. Я вот с людьми прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю.

— Господи, да чего ты, например, не понимаешь?

— А ничего не понимаю. Я, между прочим, поэтому и о лесе мечтать начал. Но теперь я вижу, что в лесу не легче.

Она покачала головой.

— Какой же ты еще ребенок, — сказала она. — Как же ты еще никак не можешь понять, что ничего нет на свете, кроме любви, еды и гордости. Конечно, все запутано в клубок, но только за какую ниточку ни потянишь, обязательно придешь или к любви, или к власти, или к еде...

— Нет, — сказал Перец. — Так я не хочу.

— Мильт, — сказала она тихонько. — А кто же тебя станет спрашивать, хочешь ты или нет... Разве что я тебя спрошу: и чего ты, Перец, мечешься, какого рожна тебе надо?

— Мне, кажется, сейчас уже ничего не надо, — сказал Перец. — Удрать бы отсюда подальше и заделаться архивариусом... или реставратором. Вот и все мои желания.

Она снова покачала головой.

— Вряд ли. Что-то у тебя слишком сложно получается. Тебе что-нибудь попроще надо.

Он не стал спорить, и она поднялась.

— Вот тебе полотенце, — сказала она. — Вот здесь я белье положила. Вылезай, будем чай пить. Чай напальешься с малиновым вареньем и ляжешь спать.

Перец уже выпустил всю воду и, стоя в ванне, вытирался огромным мохнатым полотенцем, когда зиянули стекла и донесся глухой отдаленный удар. И тогда он вспомнил склад техники и глупую истерическую куклу Жанну и крикнул:

— Что это? Где?

— Это машинку взорвали, — отозвалась Алевтина. — Не бойся.

— Где? Где взорвали? На складе?

Некоторое время Алевтина молчала — видимо, смотрела в окно.

— Нет, — сказала она наконец. — Почему на складе? В парке... Вон дым идет... А забегали-то все, а забегали...

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### ПЕРЕЦ

Леса видно не было. Вместо леса под скалой и до самого горизонта лежали плотные облака. Это было похоже на заснеженное ледяное поле: торосы, снежные барханы, полыни и трещины, таящие бездонную глубину, — и если прыгнуть со скалы вниз, то не земля, не теплые ворота, не распространенные ветви остановят тебя, а твердый, искрящийся на утреннем солнце лед, приориентированный сухим снегом, и ты останешься лежать под солнцем на льду, плоский, неподвижный, черный. И еще, если подумать, это было похоже на старое, хорошо выстиранное белое покрывало, наброшенное на верхушки деревьев...

Перец поискал вокруг себя, нашел камешек, покидал его с ладони на ладонь и подумал, какое это все-таки хорошее местечко над обрывом: и камешки здесь есть, и Управления здесь не чувствуется, вокруг дикие кюлючи кусты, немятая выгоревшая трава, и даже какая-то пташка позволяет себе чиркать, только не надо смотреть направо, где нахально сверкает на солнце свежей краской подвешенная над обрывом роскошная латрина на четыре очка. Правда, до нее довольно далеко и при желании можно заставить себя вообразить, что это беседка или какой-нибудь павильон, но все-таки лучше бы ее не было.

Может быть, именно из-за этой новенькой, возвезденной в прошлую беспокойную ночь латрины лес закрылся облаками. Впрочем, вряд ли. Не станет лес закутываться до горизонта из-за такой малости, он и не такое видел от людей.

«Во всяком случае, — подумал Перец, — я каждое утро смогу приходить сюда. Я буду делать, что мне прикажут, буду считать на испорченном «мерседесе», буду преодолевать штурмовую полосу, буду играть в шахматы с менеджером и попробую даже полюбить

кефир, наверное, это не так уж трудно, если большинству людей это удалось. А по вечерам (и на ночь) я буду ходить к Алевтине есть малиновое варенье и лежать в директорской ванне. В этом даже что-то есть, подумал он: вытираясь директорским полотенцем, и запахиваться в директорский халат, и греть ноги в директорских шерстяных носках. Два раза в месяц я буду ездить на биостанцию получать жалованье и премии, не в лес, а именно на биостанцию, и даже не на биостанцию, а в кассу, не на свидание с лесом и не на войну с лесом, а за жалованьем и за премией. А утром, рано утром, я буду приходить сюда и смотреть на лес — издали, и кидать в него камушки — тоже издали, и когда-нибудь как-нибудь что-нибудь произойдет...»

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец остроожно оглянулся, но это был не директор, а все тот же Домарошинер. В руках у него была толстая папка, и он остановился поодаль, глядя на Переца сверху вниз влажными глазами. Он явно что-то знал, что-то очень важное, и принес сюда к обрыву эту странную тревожную новость, которой не знал никто в мире, кроме него, и было ясно, что все прежнее теперь уже не имеет значения и от каждого потребуется все, на что он способен.

— Здравствуйте, — сказал он и поклонился, прижимая папку к бедру. — Доброе утро. Как отдыхали?

— Доброе утро, — сказал Перец. — Спасибо.

— Влажность сегодня семьдесят шесть процентов, — сообщил Домарошинер. — Температура — семнадцать градусов. Ветра нет. Облачность — пять баллов. — Он неслышно приблизился, держа руки по швам, и, наклонившись к Перецу корпусом, продолжал: — Дубльзь сегодня равно шестнадцати...

— Какое дубльзь? — спросил Перец, поднимаясь.

— Число пятен, — быстро сказал Домарошинер. Глаза его забегали. — На солнце, — сказал он. — На с-с-с... — Он замолчал, пристально глядя Перецу в лицо.

— А зачем вы мне это говорите? — спросил Перец с неприязнью.

— Прошу прощения, — быстро сказал Домарошинер. — Больше не повторится. Значит, только влажность, облачность... гм... ветер и... О противостоянии тоже прикажете не докладывать?

— Слушайте, — сказал Перец мрачно. — Что вам от меня надо?

Домарошинер отступил на два шага и склонил голову.

— Прошу прощения, — сказал он. — Возможно, я помешал, но есть несколько бумаг, которые требуют... так сказать, немедленного... вашего личного... — Он протянул Перецу папку, как пустой поднос. — Прикажите доложить?

— Знаете что... — сказал Перец угрожающе.

— Да-да? — сказал Домарошинер. Не выпускная папки, он стал поспешно шарить по карманам, словно бы ища блокнот. Лицо его посинело, как бы от усердия.

— «Дурак и дурак», — подумал Перец, стараясь взять себя в руки. — Что с него взять?»

— Глупо, — сказал он по возможности сдержанно. — Понимаете? Глупо и нисколько не остроумно.

— Да-да, — сказал Домарошинер. Изогнувшись, придерживая папку локтем и бедром, он бешено строчил в блокнот. — Одну секунду... Да-да?

— Что вы там пишете? — спросил Перец.

Домарошинер с испугом взглянул на него и прочитал:

— «Пятнадцатое июня... время: семь сорок пять... место: над обрывом...» Но это предварительно... Это черновик...

— Слушайте, Домарошинер, — сказал Перец с раздражением. — Какого черта вам от меня надо? Что вы все время за мной шляетесь? Хватит, надоело! (Домарошинер строчил.) И шутка ваша эта глупая, и нечего около меня шпионить. Постиглись бы, взрослый человек... Да перестаньте вы писать, идиот! Глупо же! Лучше бы зарядку сделали или умылись, вы только поглядите на себя, на что вы похожи! Тыфу!

Дрожащими от ярости пальцами он стал застегивать ремешки на сандалиях.

— Правду, наверное, про вас говорят, — пыхтел он, — что вы везде крутиетесь и все разговоры записываете. Я думал, это шутки у вас такие дурацкие... Я верить не хотел, я вообще таких вещей не терплю, но вы уж, видно, совсем обнаглели...

Он выпрямился и увидел, что Домарошинер стоит по стойке смирно и по щекам его текут слезы.

— Да что с вами сегодня? — испугавшись, спросил Перец.

— Я не могу... — пробормотал Домарошинер, всхлипывая.

— Чего не можете?

— Зарядку... Печень у меня... справка... и умываться...

— Да господи боже мой, — сказал Перец. — Ну не можете и не надо, я просто так сказал... Ну что вы, в самом деле, за мной ходите? Ну поймите вы меня, ради бога, неприятно же это... Я против вас ничего не имею, но поймите...

— Не повторится! — восторженно вскричал Домарошинер. Слезы на его щеках мгновенно выссохли. — Никогда больше!

— А ну вас, — сказал Перец устало и пошел сквозь кусты. Домарошинер ломился следом.

Паяц старый, подумал Перец, юродивый...

— Весьма срочно, — бормотал Домарошинер, тяжело дыша. — Только крайняя необходимость... Ваше личное внимание...

Перец оглянулся.

— Какого черта? — воскликнул он. — Это же мой чемодан, отдайте его сюда, где вы его взяли?

Домарошинер поставил чемодан на землю и открыл было кривой от удущья рот, но Перец его слушать не стал, а схватился за ручку чемодана. Тогда Домарошинер, так ничего и не сказав, лег на чемодан животом.

— Отдайте чемодан! — сказал Перец, леденея от ярости.

— Ни за что! — просипел Домарошинер, ерзая коленками по гравию. Папка мешала ему, он взял ее в зубы и обнял чемодан обеими руками. Перец рванул из всех сил и оторвал ручку.

— Прекратите это безобразие! — сказал он. — Сейчас же!

Домарошинер помотал головой и что-то промычал. Перец рассстегнул воротник и растерянно оглядился. В тени дуба неподалеку стояли почему-то два инженера в картонных масках. Поймав его взгляд, они вытянулись и щелкнули каблуками. Тогда Перец, затравленно озираясь, торопливо пошел по дорожке вон из парка.

— Всякое уже, кажется, бывало, — лихорадочно думал он, — но это уж совсем... Это они уже говорились... бежать, бежать надо! Только как бежать?

Он вышел из парка и повернулся к столовой, но на пути его снова оказался Домарошинер, грязный и страшный. Он стоял с чемоданом на плече, синее лицо его было залито не то слезами, не то водой, не то потом, глаза, затянутые белой пленкой, блуждали, а папку со следами клыков он прижал к груди.

— Не сюда извольте... — прохрипел он. — Умоляю... в кабинет... невыносимо срочно... притом интересы субординации...

Перец шарахнулся от него и побежал по главной улице. Люди на тротуарах стояли столбом, закинув головы и выкатив глаза. Грузовик, мчащийся на встречу, затормозил с диким визгом, врезался в газетный киоск, заглох, из кузова посыпались люди с лопатами и начали строиться в две шеренги. Какой-то охранник прошел мимо строевым шагом, держа винтовку на караул...

Дважды Перец пытался свернуть в переулок, и каждый раз перед ним оказывался Домарошинер. Домарошинер уже не мог говорить, он только мычал и рычал, умоляющие закатывая глаза. Тогда Перец побежал к зданию Управления.

«Ким, — думал он лихорадочно, — Ким не позволит... неужели и Ким?.. запрусь... запрусь в уборной... пусть попробуют... ногами буду бить... теперь все равно...»

Он ворвался в вестибюль, и сейчас же с медным дребезгом сводный оркестр грянул встречный марш. Мелькнули напряженные лица, вытаращенные глаза, выгнутые груди. Домарошинер настиг его и погнал по парадной лестнице, по малиновым коврам, по которым никогда никому не разрешалось ходить, через какие-то незнакомые двусветные залы, мимо охранников в парадной форме, при орденах, по вощеному скользкому паркету, наверх, на четвертый этаж, и дальше, по портретной галерее, и снова наверх, на пятый этаж, мимо накрашенных девиц, замерших, как манекены, в какой-то роскошный, озаренный лампами дневного света тупик к гигантской кожаной двери с табличкой «Директор». Дальше бежать было некуда.

Домарошинер догнал его, проскользнул у него под локтем, страшно, как эпилептик, захрипел и распахнул перед ним кожаную дверь. Перец вошел, погрузился ступнями в чудовищную тигровую шкуру, погрузился всем своим существом в строгий начальственный сумрак приспущеных портьер, в благородный аромат дорогого табака, в ватную тишину, в размеренность и спокойствие чужого существования.

— Здравствуйте, — сказал он в пространство. Но за гигантским столом никого не было. И никто не сидел в огромных креслах. И никто не встретил его взгляdom, кроме мученика Селивана на исполнинской картины, занимавшей всю боковую стену.

Позади Домарошинер со стуком уронил чемодан. Перец вздрогнул и обернулся. Домарошинер стоял, шатаясь, и протягивал ему папку, как пустой поднос. Глаза у него были мертвые, стеклянные. «Сейчас умрет человек», — подумал Перец. Но Домарошинер не умер.

— Необычайно срочно... — просипел он, задыхаясь. — Без визы директора невозможно... личный... никогда бы не осмелился...

— Какого директора? — прошептал Перец. Страшная догадка начала смутно формироваться в его мозгу.

— Вас... — просипел Домарошинер. — Без вашей визы... отнюдь...

Перец оперся о стол и, придерживаясь за его полированную поверхность, побрел в обход к креслу, которое показалось ему самым близким. Он упал в прохладные кожаные объятия и обнаружил, что слева стоят ряды разноцветных телефонов, а справа — тома в тисненном золотом переплете, а прямо — монументальная чернильница, изображающая Тангейзера и Венеру, а над нею — белые умоляющие глаза Домарошинера и протянутая папка. Он стиснул подлокотники и подумал: «Ах, так? Дряни вы, сволочи, холопы... так, да? Ну-ну, подонки, холуи, картонные рыла... Ну, хорошо, пусть будет так...»

— Не тряслите папкой над столом, — сказал он сурово. — Дайте ее сюда.

В кабинете возникло движение, мелькнули тени, взлетел легкий вихрь, и Домарошинер оказался рядом, за правым плечом, и папка легла на стол, и раскрылась, словно бы сама собою, выглянули листы отличной бумаги; и он прочитал слово, напечатанное крупными буквами: «ПРОЕКТ».

— Благодарю вас, — сказал он сурово. — Вы можете идти.

И снова взлетел вихрь, возник и исчез легкий запах пота, а Домарошинер был уже около дверей и, пятаясь, наклонив корпус и держа руки по швам — страшный, жалкий и готовый на все.

— Одну минутку, — сказал Перец. Домарошинер замер. — Вы можете убить человека? — спросил Перец.

Домарошинер не колебался. Он выхватил малый блокнот и произнес:

— Слушаю вас?

— А совершить самоубийство? — спросил Перец.

— Что? — сказал Домарошинер.

— Идите, — сказал Перец. — Я вас потом вызову.

Домарошинера не стало. Перец откашлялся.

— Предположим, — сказал он вслух. — А что дальше?

Он увидел на столе табель-календарь, перевернул страницу и прочитал то, что было записано на сегодняшний день. Почекрк бывшего директора разочаровал его. Директор писал крупно и разборчиво, как учитель чистописания. «Завгрупами — 9.30. Осмотр ноги — 10.30. Але пудру. Кефир-зефир попроб. Машинизация. Катушка: кто украл? Четыре бульдозера!!!»

К черту бульдозеры, подумал Перец, все: никаких бульдозеров, никаких экскаваторов, никаких пияющих комбайнов искоренения... Хорошо бы заодно кастрорвать Тузика — нельзя, жаль... и еще этот склад машин. Взорву, решил он. Он представил себе Управление, вид сверху, и понял, что очень многое нужно взрывать. Слишком многое... Взрывать и дурак умеет, подумал он.

Он выдвинул средний ящик стола и увидел там кипы бумаг, и тупые карандаши, и два филателистических зубцемера, и поверх всего этого — витой золотой генеральский погон. Один погон. Он поиском второй, шаря рукой под бумагами, укололся о кнопку и нашел связку ключей от сейфа. Сам сейф стоял в дальнем углу, очень странный сейф, декорированный под сервант. Перец поднялся и пошел через кабинет к сейфу, оглядываясь по сторонам и замечая очень много странного, чего он не заметил раньше.

Под окном стояла хоккейная клюшка, рядом с нею — костьль и протез ноги в ботинке с ржавым коньком. В глубине кабинета оказалась еще одна дверь, поперек нее была натянута веревка, а на веревке висели черные плавки и несколько штук носков, в том числе и дырявые. На двери была потемневшая металлическая табличка с вырезанной надписью «СКОТ». На подоконнике стоял полускрытый портьер небольшой аквариум — в чистой прозрачной воде среди разноцветных водорослей мерно шевелил ветвистыми жабрами жирный черный аксолотль. А из-за картины, изображающей Селивана, торчал роскошный капельмейстерский бунчук с конскими хвостами.

Перец долго возился возле сейфа, подбирай ключи. Наконец он распахнул тяжелую броневую дверцу. Изнутри дверца оказалась оклеена неприличными картинками из фотографий для мужчин, а в сейфе почти ничего не было. Перец нашел там пенсне с расколотым левым стеклом, мятый картуз с непонятной кокардой и фотографию незнакомого семейства (оскалившийся отец, мать — губки бантами — и двое мальчиков в кадетской форме). Был там «парабеллум», хорошо вычищенный и ухоженный, с единственным патроном в стволе, еще один витой генеральский погон и железный крест с дубовыми листьями. В сейфе была еще книга папок, но все они были пустые, и только в самой нижней оказался черновой проект приказа о наложении взыскания на шоферов Тузика за систематическое непосещение Музея истории Управления. «Так его, так его, негодяя, — пробормотал Перец. — Подумать только, музей не посещает... Этому делу надо дать ход».

Все время этот Тузик, что за елки-палки? Свет на нем клином сошелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся... Кефироман, бабник отвратительный, резинщик... впрочем, все шоферы резинщики...

Нет, это надо прекратить: кефир, шахматы в рабочее время. Между прочим, что это считает Ким на испорченном «мерседесе»? Или это так и надо — какие-нибудь там стохастические процессы... Слушай, Перец, ты что-то очень мало знаешь. Ведь все работают. Никто почти не отлынивает. По ночам работают. Все заняты, ни у кого нет времени. Приказы исполняются, это я знаю, это я сам видел. Вроде бы все в порядке: охранники охраняют, водители водят, инженеры строят, научники пишут статьи, кассиры выдают деньги... Слушай, Перец, — подумал он, — а может быть, вся эта карусель как раз для того и существует, чтобы все работали? В самом деле, хороший механик чинит машину за два часа. А потом? А остальные двадцать два часа? А если к тому же на машинах работают опытные рабочие, которые машин не портят? Само же собой напрашивается: хорошего механика перевести в повара, а повара — в механики. Тут не то что двадцать два часа — двадцать два года заполнить можно. Нет, в этом есть какая-то логика. Все работают, выполняют свой человеческий долг, не то что обезьяны какие-нибудь... и дополнительные специальности приобретают... В общем-то нет в этом никакой логики, бардак это сплошной, а не логика... Бог ты мой, я тут стою столбом, а на лес гадят, лес искреняют, лес превращают в мрак. Надо скорее что-то делать, теперь я отвечаю за каждый гектар, за каждого щенка, за каждую русалку, я теперь за все отвечаю...

Он засуетился, кое-как закрыл сейф, бросился к столу, отодвинул папку и вытащил чистый лист бумаги из ящика... Но здесь же тысячи людей, подумал он. Установившиеся традиции, установившиеся отношения, они же будут смеяться надо мной... Он вспомнил потного и жалкого Домарошина и самого себя в приемной у директора. Нет, смеяться не будут. Плачать будут, жаловаться будут... этому... мсье Ахти... резать будут друг друга. Но не смеяться. Вот это самое ужасное, подумал он. Не умеют они смеяться, не знают они, что это такое и зачем. Люди, подумал он. Люди и людишки, и человечишки. Демократия нужна, свобода мнений, свобода ругани, соберу всех и скажу: ругайте! Ругайте и смеяйтесь... Да, они будут ругать. Будут ругать долго, с жаром и упоением, поскольку так приказано, будут ругать за плохое снабжение кефиром, за плохую еду в столовой, дворника будут ругать с особенной страстью — улицы-де который год не метены, шоферы Тузика будут за систематическое не-посещение бани, и в перерывах будут бегать в латрины над обрывом... Нет, так я запутаюсь, подумал он. Нужен какой-то порядок. Что у меня теперь есть?

Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: «Группа Искоренения леса, Группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа Помощи местному населению леса...». Что там еще? Да! «Группа Инженерного проникновения в л.» И еще... «Группа Научной охраны л.» Все, кажется. Так. А чем они занимаются? Странно, мне никогда не приходило в голову, чем же они здесь занимаются. Более того, мне как-то никогда не приходило в голову узнать, чем занимается Управление вообще. Как это можно совмещать искоренение леса с охраной леса, да при этом еще помогать местному населению... Ну вот что, подумал он. Во-первых, никаких искоренений. Искоренение искоренит. Инженерное проникновение, наверное, тоже. Или пусть работают наверху, внизу им, во всяком случае, делать нечего. Пусть свои машины разбирают, пусть хорошую дорогу сделают, пусть болото это воюющее засыплют... Тогда что останется? Вооруженная охрана останется. С волкодавами. Ну, вообще-то... вообще-то лес охранять следует. Только вот... Он припомнил лица известных ему охранников и в сомнении поклевал губами. Ну-да... Ну, ладно, ну, предположим. А Управление-то зачем? Я зачем? Распустить Управление, что ли? Ему стало весело и жутко. Вот это да, подумал он. Могу! Распушу и все, подумал он. Кто мне судья? Я — директор, глава. Приказ — и все!..

Тут он вдруг услышал тяжелые шаги. Где-то совсем рядом. Зазвенели стекляшки на люстре, на веревке колыхнулись сохнущие носки. Перец поднялся и на цыпочках подошел к маленькой дверце. Там, за дверцей, кто-то ходил, словно бы спотыкаясь, но больше ничего не было слышно, а в двери не было даже замочной скважины, чтобы посмотреть. Перец осторожно подергал ручку, но дверь не поддалась. «Кто там?» — спросил он громко, приблизив губы к щели. Никто не отозвался, но шаги не стихли — словно пьяный там бродил, заплетаясь ногами. Перец снова подергал ручку, пожал плечами и вернулся на свое место.

В общем, власть имеет свои преимущества, подумал он. Управление я, конечно, распускать не буду, глупо, зачем распускать готовую, хорошо сколоченную организацию? Ее нужно просто повернуть, направить на настоящее дело. Прекратить вторжение в лес, усилить его осторожное изучение, попытаться найти контакты, учиться у него... Ведь они даже не понимают, что такое лес. Подумаешь, лес! Дрова и дрова... Научить людей любить лес, уважать его, жить его жизнью... Нет, тут много работы. Настоящей, важной. И люди найдутся — Ким, Стоян... Рита... Господи, а менеджер чем плох?.. Алевтина... В конце концов и этот Ахти тоже, наверное, фигура, умница, ерундой только занят... Мы им покажем, подумал он весело. Мы им еще

покажем, черт побери! Ладно. А в каком состоянии у нас текущие дела?

Он придинул к себе папку. На первом листе было написано следующее:

**«ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ О ПРИВНЕСЕНИИ ПОРЯДКА**

§ 1. На протяжении последнего года Управление по лесу существенно улучшило свою работу и достигло высоких показателей во всех областях своей деятельности. Освоены, изучены, искоренены и взяты под вооруженную и научную охрану многие сотни гектаров лесной территории. Непрерывно растет мастерство специалистов и рядовых работников. Совершенствуется организация, сокращаются непроизводительные расходы, устраняются бюрократические и иные вне производительные препоны.

§ 2. Однако, наряду с достигнутыми достижениями, вредоносное действие Второго закона термодинамики, а также закона больших чисел все еще продолжает иметь место, несколько снижая общие высокие показатели. Нашей ближайшей задачей становится теперь упразднение случайностей, производящих хаос, нарушающих единый ритм и вызывающих снижение темпов.

§ 3. В связи с вышеизложенным предлагается в дальнейшем рассматривать проявление всякого рода случайностей незакономерными и противоречящими идеалу организованности, а прикосновенность к случайностям (пробабилитность) — как преступное деяние, либо, если прикосновенность к случайности (пробабилитность) не влечет за собой тяжких последствий, как серьезнейшее нарушение служебной и производственной дисциплины.

§ 4. Виновность лица, прикосновенного к случайности (пробабилитность), определяется и измеряется статьями Уголовного Уложения №№ 62, 64, 65 (исключ. пп. С и О), 113 и 192п. К или §§ Административного Кодекса 12, 15 и 97.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Смертельный исход прикосновенности к случайности (пробабилитность) не является как таковой оправдывающим либо смягчающим обстоятельством. Осуждение либо взыскание в этом случае производится посмертно.

§ 5. Настоящая Директива дана... месяца... дня... года. Обратной силы не имеет.

Подпись: **ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ (...)**.

Перец облизал пересохшие губы и перевернул страницу. На следующем листе был приказ об отдаче под суд сотрудника Группы Научной охраны Х. Тойти в соответствии с Директивой «О привнесении порядка» за злостное потакание закону больших чисел, выразившееся в поскользнутии на льду с сопутствующим повреждением голеностопного сустава, каковая преступная прикосновенность к случайности (пробабилитность) имела место 11 марта с. г.». Сотрудника Х. Тойти предлагалось впредь во всех документах именовать пробабилитиком Х. Тойти...

Перец щелкнул зубами и посмотрел следующий листок. Это тоже был приказ: о наложении административного взыскания — штрафа в размере четырехмесячного жалования — посмертно на собаковода вооруженной охраны Г. де Мономоранси, «беспечно позвавшего себе быть пораженным атмосферным разрядом (молнией)». Дальше шли заявления об отпусках, просьбы о единовременном пособии по случаю утери кормильца и объяснительная записка некоего Ж. Люмбаго относительно пропажи какой-то катаушки...

— Какого черта! — сказал Перец вслух и снова прочитал проект Директивы. Он вспотел. Проект был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Попсовататься бы с кем-нибудь... — тоскливо подумал Перец. — Этак я совсем пропаду...

Тут дверь распахнулась, и в кабинет, толкая перед собой столик на колесиках, вошла Алевтина, одетая очень изысканно и модно, со строгим и серьезным выражением на умело подкрашенном и припудренном лице.

— Ваш завтрак, — сказала она деликатным голосом.

— Закройте дверь и идите сюда, — сказал Перец. Она закрыла дверь, толкнула столик ногой и, поправляя волосы, подошла к Перецу.

— Ну что, пусик? — сказала она, улыбаясь. — Доволен ты теперь?

— Слушай, — сказал Перец. — Ерунда какая-то. Ты почитай.

Она села на подлокотник, левой обнаженной рукой обняла Переца за шею, а правой обнаженной рукой взяла Директиву.

— Ну, знаю, — сказала она. — Все правильно. В чем дело? Может быть, тебе Уголовное Уложение принесет? Прежний директор тоже ни одной статьи не помнил.

— Да нет, подожди, — нетерпеливо сказал Перец. — При чем здесь Уложение... при чем здесь Уложение? Ты читала?

— Не только читала, но и печатала. И стиль правила. Домарошинер ведь писать не умеет, он и читать-то только здесь научился... Кстати, пусик, — сказала она озабоченно. — Домарошинер там ждет, в приемной, ты его во время завтрака прими, он это любит. Он тебе бутерброды делать будет...

— Да плевал я на Домарошинера! — сказал Перец. — Ты мне объясни, что я...

— На Домарошинера плевать нельзя, — возразила Алевтина. — Ты у меня еще пусик, ты у меня еще ничего не понимаешь... — Она надавила Перецу на нос, как на кнопку. — У Домарошинера есть два блокнота. В один блокнот он записывает, кто что сказал, для директора, а в другой блокнот он записывает, что сказал директор. Ты, пусик, это имей в виду и никогда не забывай.

— Подожди, — сказал Перец. — Я хочу с тобой посоветоваться. Вот эту Директиву... этот бред я подписывать не буду.

— Как это не будешь?

— А вот так. У меня рука не подымется такое подписать.

Лицо Алевтины стало строгим.

— Пусик, — сказала она. — Ты не упирайся. Ты подпиши. Это же очень срочно. Я тебе потом все объясню, а сейчас...

— Да что тут объяснять? — сказал Перец.

— Ну, раз ты не понимаешь, значит, тебе нужно объяснить. Вот я тебе потом и объясню.

— Нет, ты мне сейчас объясни, — сказал Перец. — Если можешь, — добавил он. — В чем я сомневаюсь.

— Ух ты, мой маленький, — сказала Алевтина и целовала его в висок. Она озабоченно поглядела на часы. — Ну, хорошо, ну, ладно.

Она пересела на стол, подложила под себя руки и начала, глядя прищуренными глазами поверх головы Переца:

— Существует административная работа, на которой стоит все. Работа эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основанием далеко в глубь времен. До сегодняшнего дня он овеществлен в существующих приказах и директивах. Но он уходит и глубоко в будущее, и там он пока еще только ждет своего овеществления. Это подобно прокладке шоссе по трассированному участку. Там, где кончается асфальт и спиной к готовому участку стоит нивелировщик и смотрит в теодолит. Этот нивелировщик — ты. Воображаемая линия, идущая вдоль оптической оси теодолита, есть неовеществленный административный вектор, который из всех людей видишь только ты и который именно тебе надлежит овеществлять. Понятно?

— Нет, — сказал Перец твердо.

— Это неважно, слушай дальше... Как шоссе не может свернуть произвольно влево или вправо, а должно следовать оптической оси своего теодолита, так и каждая очередная директива должна служить континуальным продолжением всех предыдущих... Пусик, миленький, ты не винтай, я этого сама ничего не понимаю, но это даже хорошо, потому что внимание порождает сомнение, сомнение порождает топтанье на месте, а топтанье на месте — это гибель всей административной деятельности, а следовательно, и твоя, и моя, и вообще... Это же азбука. Ни единого дня без директивы, и все будет в порядке. Вот эта Директива о привнесении порядка — она же не на пустом месте, она же связана с предыдущей Директивой о неубывании, а та связана с Приказом о небеременности, а этот Приказ логически вытекает из Предписания о чрезмерной возмутимости, а оно...

— Какого черта! — сказал Перец. — Покажи мне эти предписания и приказы... Нет, лучше покажи мне самый первый приказ, тот, который в глубине времен.

— Да зачем это тебе?

— То есть как зачем? Ты говоришь, что они логично вытекают. Не верю я этому!

— Пусенька, — сказала Алевтина. — Все это ты посмотрела. Все это я тебе покажу. Все это ты прочитаешь своими близоруkenькими глазками. Но ты поими: позавчера не было директивы, вчера не было директивы, если не считать пустякового приказика о поимке машинки, да и то устного... Как ты думаешь, сколько времени может стоять Управление без директивы? С утра уже сегодня неразбериха: какие-то люди ходят везде и меняют перегоревшие лампочки, ты представляешь? Нет, пусик, ты как хочешь, а Директиву подпиши. Я ведь добра тебе желаю. Ты ее быстренько подпиши, провели совещание с завгруппами, скажи им что-нибудь бодрое, а потом я тебе принесу все, что ты захочешь. Будешь читать, изучать, вникать... хотя лучше, конечно, не вникай.

Перец взялся за щеки и потряс головой. Алевтина живо соскочила со стола, обмакнула перо в черепную коробку Венеры и протянула вставочку Перецу.

— Ну, пиши, миленький, быстренько...

Перец взял перо.

— Но отменить-то ее можно будет потом? — спросил он жалобно.

— Можно, пусик, можно, — сказала Алевтина, и Перец понял, что она врет. Он отшвырнул перо.

— Нет, — сказал он. — Нет и нет. Не стану я этого подписывать. На кой черт я буду подписывать этот бред, если существуют, наверное, десятки разумных и толковых приказов, распоряжений, директив, совершенно необходимых, действительно необходимых в этом бедламе...

— Например? — живо сказала Алевтина.

— Да господи... Да все, что угодно... Елки-палки... Ну хоть...

Алевтина достала блокнотик.



— Ну хотя бы... Ну хотя бы приказ,— с необычайной язвительностью сказал Перец,— сотрудникам группы Искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки. Пожалуйста! Пусть все побросаются с обрыва... или постреляются. Сегодня же! Ответственный — Домарошинер... Ей-богу, от этого было бы больше пользы...

— Одну минуту,— сказала Алевтина.— Значит, покончить самоубийством при помощи огнестрельного оружия сегодня до двадцати четырех ноль-ноль. Ответственный — Домарошинер...— Она закрыла блокнот и задумалась. Перец смотрел на нее с изумлением.— А что! — сказала она.— Правильно! Это даже прогрессивнее... Маленький, ты пойми: не нравится тебе директива — не надо. Но дай другую. Вот ты дал, и у меня больше нет к тебе никаких претензий...

Она соскочила на пол и засуетилась, расставляя перед Перецем тарелки.

— Вот тут блинчики, вот тут варенье... Кофе в термосе, горячий, не обожгись... Ты кушай, а я быстренько наброшу проект и через полчаса принесу тебе.

— Подожди,— сказал ошеломленный Перец.— Подожди...

— Ты у меня умненький,— сказала Алевтина нежно.— Ты у меня молодец. Только с Домарошинером будь поласковее.

— Подожди,— сказал Перец.— Ты что, смеешься?

Алевтина побежала к дверям. Перец устремился за нею с криком: «Не сходи с ума!», но схватить не успел. Алевтина скрылась, и на ее месте, как призрак, возник из пустоты Домарошинер. Уже прилизанный, уже почищенный, уже нормального цвета и по-прежнему готовый на все.

— Это гениально,— тихо сказал он, тесня Переца к столу,— это блестяще. Это наверняка войдет в историю...

Перец попятился от него, как от гигантской сколопендры, наткнулся на стол и повалил Тангейзера на Венеру.

#### ЭПИЛОГ

## КАНДИД

Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево — нагруженные, слева направо — порожняком. Месяц назад было наоборот, месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим, подумал он.

За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец окончательно отошел, глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет, старец этот.

— Что же это ты, Молчун,— плаксиво сказал старец,— совсем у тебя нечего есть. Как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил я тебе: не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога наслушался и ушел, а разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает, и отец Колченога такой же был непонятливый, и дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и Колченог обязательно померт, никуда не денется... А может быть, у тебя, Молчун, есть какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут... Так если спрятал, ты доставай скорее, я есть хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже... А то Навы теперь у тебя нет. Хвоста тоже деревом убило... Вот у кого еды всегда было много — у Хвоста! Я у него горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недоброженная, скверная, потому что, наверное, деревом и убило... Говорил я ему: нельзя такую еду есть.

Кандид встал и поиском по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернулся налево и направился к площади, к дому Кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей, веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликнулось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвигнулся ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде, а казалось, что больше. Наверное, потому, что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому, что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики: «Молчун! Молчун!» И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос, и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распахивался страшный белый шрам. Ребята больше не дразнили Молчуна, они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. О скальпеле в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков по указанию хитроумного старосты стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные...

Посреди площади стоял торчком по пояс в траве Слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг него топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты, это зрелище им никогда не надоело. Кандид тоже остановился послушать, и ребятишек как ветром сдуло.

— В битву вступают новые... — металлическим голосом бредил Слухач. — Успешное передвижение... обширные места покоя... новые отряды подруг... Спокойствие и Сияние...

Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясная, и он чувствовал, что может думать, и стал думать, кто же он такой, этот Слухач, и зачем он. Теперь имела смысл думать об этом, потому что теперь Кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все. В каждой деревне есть свой слухач, и у нас есть слухач, и на Выселках, а старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое Одержание, и понимали, о каких успехах идет речь; и, наверное, тогда они были заинтересованы, чтобы многие это знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, мужики — не больше чем козлы... это произошло, когда научились управлять лиловым туманом, и из лиловых туч вышли первые мертвяки... и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер... и возникли первые отряды подруг... А слухачи остались, и осталась традиция, которую не уничтожили просто потому, что они об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и города, из которых идет разрушение, и эти жуткие бабы-амазонки, хрицы партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы леса, разбужшие от парной воды... и эта гигантская возня в джунглях, все эти Великие Разрыхления и Заболачивания, чудовищная в своей абсурдности и грандиозности затея... Мысли текли свободно и даже как-то машинально, за этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла, и Кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду. У нас в деревне это называется «думать». Вот сейчас возникнут сомнения... Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдунов. Но мало ли кого можно встретить в лесу? Я видел гибель голодной деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом... гибель, фабрика, расправа... Это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель — это не гибель, а Одержание... Но я то не знаю, что такое Одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо, и, может быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей», а «планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое», «своевременно созревшего, налившегося силой нового на загнившее бесперспективное старое»... Не извращение, а революция. Закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего и потому, именно потому воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топтущего бедную курочку...

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики... и живые механизмы, и живые машины, да например, мертвяки... Ну почему, почему все это, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия — только омерзение и ненависть...

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазеет, шерсть на носу, — сказал он. — Один вот тоже все глазел, окрутили ему руки ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, Молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть на носу, и сам я третью ночь у старости ночую, а нынче вот думаю пойти к Хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать ее не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать — ноухать невозможно, шерсть на носу... Только к Чертовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобой в Город, наберем мы с тобой там баб. Если воры встретятся, половину отдадим, не жалко, шерсть на носу, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна вот тоже плавала, дали ей хорошенко по соплям — больше не плавает и воды видеть не может, шерсть на носу... Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город и про баб этих? Или, может, привиделось тебе — отняли у тебя воры Наву, тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере, шерсть на носу, — все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу, мало ли что

там бабы, я в воду даже за бабами не полезу, я плывать не умею, да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь... Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой этак быстро управимся...

— Ты дубину себе сломал? — спросил Кандид.

— А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? — возразил Кулак. — Это на болото надо идти — за дубиной. А у меня времени нету, я еду стерег, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драяться ни с кем не собираюсь... Один вот тоже драился, шерсть на носу...

— Ладно, — сказал Кандид. — я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим, не забудь.

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился: И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили. Мертвяки бабам служить не могут, это ты, Молчун, загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся, ты на мою посмотря, а потом рассказывай. А что деревня потонула, так это же Одержание произошло, это ж всякий и без тебя знает, и при чем тут твои бабы — непонятно... И вообще, Молчун, в Городе ты не был, чего уж там, признайся, мы не обидимся, уж больно ты занятно рассказываешь. А только в Городе ты не был, это мы все знаем, потому что кто в Городе побывает, обратно уж не возвращается... И Наву твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали, наши воры, местные. Никогда бы тебе, Молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина ты, конечно, смелый, и как ты с мертвяками обходишься, это просто смотреть страшно. Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня, и был лес. Лес был сильнее, но лес ведь всегда был и всегда будет сильнее. При чем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает — это, конечно, гибель, но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать что к чему... Когда-нибудь они спохватятся. Когда не останется больше женщин; когда болота подойдут вплотную к домам; когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман... А может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить, Одержание». И уйдут строить новую деревню...

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшись за ночь, и готовился завтракать.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Есть будешь? Хорошие грибы.

— Поеем, — сказал Кандид и сел рядом.

— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы теперь у тебя нету, когда ты еще без Навы приспособишься... Я слыхал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал?.. А, ну да, ты же мне и сказал: ухожу, мол. Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было... В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники я бы тоже с тобой сходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели бы — хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, да и в других местах тоже не растут, а тут ешь-ешь, и все мало... А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесье, да мимо хлебного болота, там бы опять поели — хорошие злаки там родятся, сладкие, просто удивляешься, что на болоте да на грязи и такие злаки произрастают... Ну, а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы мы шли, а там уже и Тростники...

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, — торопливо напомнил Кандид. — Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.

Колченог с сомнением покачал головой.

— К Чертовым Скалам... — повторил он. — Нет, Молчун, не пройти нам к Чертовым Скалам, не пройти. Это ты знаешь, где Чертовые Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: Скалы, мол, Чертовы... Так что к Чертовым Скалам я не пойду, не верю я в них. Вот если бы в Город, например, или еще лучше — в Муравейники, это тут рядом, рукой подать... Слушай, Молчун, а пошли-ка мы с тобой в Муравейники. И Кулак пойдет... Я ведь в Муравейниках как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, говорит, Колченог, в Муравейники... Охота, видишь, ей было посмотреть дупло, где я ногу повредил... А я ей говорю, что не помню, где это дупло, и вообще, может быть, Муравейников больше нет, давно я там не был...

Кандид жевал гриб и смотрел на Колченога. А Колченог говорил и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида. Хороший ты человек, Колченог, и добрый ты, и оратор видный, и староста с тобой считается, и Кулак, а старец тебя просто-таки боится, и не зря был ты лучшим приятелем

и спутником известного Обиды-Мученика, человека ищащего и беспокойного, ничего не нашедшего и стинувшего где-то в лесу... Одна вот только беда: не хочешь ты, Колченог, меня в лес отпускать, жалеешь убогого. Лес — место опасное, гибельное, куда многие ходили, да немногие назад возвращались, а если возвращались, то сильно напуганные, а бывает, и покалеченные... у кого нога поломана, у кого что... Вот и хитришь ты, Колченог, то сам притворяешься полуумным, то делаешь вид, что Молчун полуумным считаешь, а в действительности уверен ты в одном: если уж Молчун удалось один раз вернуться, потерявши девочку, то дважды таких чудес не случается...

— Слушай, Колченог, — сказал Кандид. — Выслушай меня внимательно. Говори, что хочешь, думай, что хочешь, но я прошу тебя об одном: не бросай меня, пойди в лес со мною. Ты мне очень нужен в лесу, Колченог. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами. Понимаешь?

Колченог смотрел на Кандида, и выцветшие глаза его были непроницаемы.

— А как же, — сказал он. — Я тебя вполне понимаю. Вместе и пойдем. Как вот отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней — на тропу. Эту тропу сразу отличить можно: там валунов столько, что ноги сломаешь... Да ты еще грибы, Молчун, ешь, они хорошие... По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни, я тебе про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами проросла, но не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не станем, от них болеют и умереть можно. Так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдем дальше и спустя время дойдем до чудаковой деревни, там горшки делают из земли, вот додумались! Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали... У них мы тоже останавливаться не будем, нечего нам у них там оставаться, а пойдем мы сразу от них направо — тут тебе и будет Глинная поляна...

А может быть, не брать мне тебя? — думал Кандид. Ты уже был там, лес уже тебя жевал, и, как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, и над тобою нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не знаю, не знаю. Но иди надо. Захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца... А дальше? Обреченные, несчастные обреченные. А вернее, счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены; что сильные их мира видят в них только грязное племя насилиников; что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса; что все для них уже предопределено и — самое страшное — что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует, подумал Кандид. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, и я прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы — что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал бы на сторону этого прогресса, и Колченог, и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся... А может быть, и нет, может быть, это было не легко и не просто, я не могу, когда людей считают животными. Но может быть, дело в терминологии, и если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажравшиеся тупые бездельники... Идеалы... Великие цели... Естественные законы природы... и ради этого уничаются половина населения! Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах их прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции — мне, наверное, не удастся — я сделаю все, что могу, чтобы эти жернова остановились. Впрочем, если мне удастся добраться до биостанции... М-да. Странно, никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на Управление со стороны. И Колченогу не приходило в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище — Управление, вид сверху. Ладно, об этом я подумаю потом.

— Значит, договорились, — сказал он. — Послезавтра выходим.

— А как же, — немедленно ответствовал Колченог. — Сразу от меня налево...

На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Многоголосов закричали хором: «Молчун! Эй, Молчун!» Колченог вспрепнулся.

— Никак мертвяки! — сказал он, торопливо поднимаясь. — Давай, Молчун, давай, не сиди, посмотреть хочу.

Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.

# БУЛГАКОВ

Окончание.  
Начало на 13-й стр.

(1939): написана ли она по прямому заказу и под давлением театра, как считает С. А. Ермолинский, или автор сам вынашивал этот замысел, а МХАТ лишь подхватил его (эту точку зрения развивает В. Я. Виленкин).

Записи Е. С. Булгаковой неоспоримо доказывают, что замысел пьесы о молодом Сталине возник у Булгакова в начале февраля 1936 года, когда выпускался спектакль «Мольер». События последующих недель с разгромной статьей в «Правде», снятием с афиши «Мольера» и прекращением репетиций «Ивана Васильевича» в Театре сатиры вновь увяли Булгакова от сцены и направили его мысли в другую сторону.

Но в декабре 1939 года должно было торжественно отмечаться 60-летие Сталина, и к этой дате театр намеревался дать свою премьеру. Пьеса была написана к лету 1939 года и горячо встречена как руководством театра, так и ближайшим окружением Булгакова. Перечитывая ее теперь, отчетливо видишь, что, несмотря на ряд мастерски написанных сцен, даже талант Булгакова оказался бессилен перед ложной апологетической задачей. Пьеса вписывалась в круг сочинений, добровольно создававших «культ личности» вождя. Но современниками это могло восприниматься иначе. В дневнике Е. С. Булгаковой сохранилась запись о непосредственном впечатлении С. А. Ермолинского, позднее — в мемуарах — иначе освещенного этого скандала. Ермолинский восхищался пьесой: «Образ героя сделан так, что, если он уходит со сцены, ждешь не дождешься, чтобы он скорее появился опять. Вообще говорил много и восхищался как профессионалом, понимающим все трудности задачи и виртуозность исполнения».

Подготовка спектакля была внезапно прервана: стал известен неблагоприятный отзыв Сталина, чувствительно относившегося ко всем нюансам в трактовке своей биографии: «Все дети и все молодые люди одинаковы. Не надо ставить пьесу о молодом Сталине» — в такой форме его слова были переданы руководству МХАТа. То, что сочли за проявление скромности, могло быть желанием привлечь внимание к своей молодости, проведенной в стенах духовной семинарии. Но так или иначе для Булгакова это был последний удар перед его роковой болезнью, тем более чувствительный, что сам он не мог не сознавать, что замысел его пьесы был, выражаясь словами героя Островского, если не «по расчету», то «с расчетом».

Пьесы не допустили к постановке, а Булгаков пережил это как двойную беду — и неудачи, и стыда. В дни последней болезни он с горечью сказал одному из друзей о своей пьесе: «Это самопредательство».

И, однако, 6 января 1940 года уже безнадежно больной Булгаков делал заметки («Альгамбра. Мушкетеры. Гренада») к пьесе о Ричарде I, где история, как в «Иване Васильевиче», должна была, по-видимому, причудливо сочетаться с современностью. В пьесе рассказывалось о судьбе писателя, которому покровительствовал некий Ричард Ричардович. Крах Ричарда I приводил к краху и писателя. Как убеждаемся, Булгаков оставался все в том же круге мыслей о необычных поворотах своей драматической судьбы.

8 февраля 1940 года артисты МХАТа В. И. Качалов, Н. П. Хмелев и А. К. Тарасова обратились с письмом к секретарю Сталина А. Н. Покребышеву с просьбой сообщить о тяжелой болезни писателя и с намеком, что внимание

Сталина, его телефонный звонок могли бы подбодрить Булгакова. Легко увидеть за всем этим отчаянный порыв Елены Сергеевны, помнившей о значении для Булгакова знаменитого звонка 1930 года. Но, как сообщает в своих записках Ермолинский, звонок из секретариата Сталина последовал лишь на другое утро после смерти писателя.

Легенда об особом, исключительном внимании Сталина к гонимому писателю была своего рода самогипнозом и одновременно средством самозащиты. Словом, во всей этой истории нет, пожалуй, ничего особенно чудесного, если сбросить со счетов субъективное восприятие ее автором. До сих пор мне приходилось снимать налет мистицизма с событий, объясняемых исторически и психологически. Мистическое содержание темы Сталин — Булгаков открыл неожиданно с другой стороны.

В недавние годы смотрел я во МХАТе посредственную постановку нынешних «Турбинных». И вдруг вздрогнул: на лестнице в гимназии Алексей Турбин, обращаясь к юнкерам, сказал слова, напомнившие чью-то другую, известную, знакомую с дней войны интонацию: «Слушайте меня, друзья мои...»

Господи, да как же я сразу не узнал? Это же знаменитое сталинское: «К вам обращаюсь я, друзья мои! Кто из современников минувшей войны, начиная от тогдашних школьников, не помнит этой речи 3 июля 1941 года, когда, собравшись наконец с силами после острого приступа малодушия и растерянности, яростной обиды на судьбу и обманувшего его Гитлера, Сталин приехал из своего загородного убежища, чтобы произнести эти слова, возвратить к стране, замечтая часть территории которой уже была захвачена врагом.

Помню, как слушали мы, дети 41-го года, под черной бумажной тарелкой продюектора это, не похожее на торжественные сталинские доклады и недавние речи о бандах троцкистско-зиновьевских двурушников, выступление, где прозвучало что-то трагически понятное, человеческое. Вождь-отец обращался к сердцу каждого из нас, к детям и старикам, военным и штатским, партийным и беспартийным, верующим и неверующим, к стране, попавшей в беду. Помню тягостные паузы в продюекторе и как что-то звякало, то ли зубы о стакан, когда он отливал воду, то ли чайная ложка. Оратор волновался перед микрофоном, как, может быть, ни разу в жизни, и оттого говорил с еще более сильным акцентом.

Никто не знал тогда, что его не было в Москве почти неделю, и командиры армий и флотов, работники Генштаба и члены правительства не могли или не смели связаться с ним. Такие его внезапные исчезновения в трудные, роковые минуты жизни, бывали и прежде, и о них помнили старые его соратники. «На Кобу опять нашло», — говорили в таких случаях его друзья по партии еще в начале 20-х годов. Так было и на этот раз, но в обстоятельствах особых. Текст речи, который он привез с собой теперь в Кремль, он обдумал за последние ночи на даче в Волынском. Он знал, что говорить надо кратко, а начать как-то особенно, необычно, сразу завоевав все души, и он сказал: «Товарищи! Граждане!.. Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

«Братья и сестры» возникло в его сознании, потрясенном несчастьями последних дней, невольно, как отдаленное воспоминание детства и юности. Это были те трогающие равенством и умиротворением слова священника, его обращение к братьям и сестрам во Христе, которые он привык слышать в семинарской церкви в Кутаиси.

А следом невольно подвернулись под язык знакомые интонации булгаковской

пьесы: «К вам обращаюсь я, друзья мои...» Дело не только в заразительности ораторских ритмов. Хотя надо было, как он, ездить на этот спектакль не менее 15 раз (цифра зафиксированная в театральных протоколах, но не исчезающая — ведь иногда он приезжал в середине или к концу спектакля, и это могло быть не отмечено), чтобы в ушах навсегда остались, будто впечатились, интонации исполнителей, и, конечно, властная и доверительная речь Алексея Турбина — Хмелева перед взбаламученным строем юнкеров.

Запись Елены Сергеевны в дневнике 3 июля 1939 года: «Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: «Хорошо играете Алексея. Ваши усы сияют, забыть не могу». Спектакль этот вообще, можно утверждать бессомненно, больше чем просто нравился Сталину. Он захватывал его. Чем? Можно гадать. Я думаю, как это ни странно прозвучит, каким-то бессомненным и неразменным чувством чести, преданности знамени, имени государя, которые несли в себе все эти растоптаные и давно вымеченные за порог истории белые офицеры. Он завидовал им, он восхищался ими. Такую бы гвардию ему воркут себя!

Даже странная притягательность офицерской формы, погон, которые он, к общему изумлению, ввел в Красной Армии на рубеже 1942 и 1943 года, само возрождение офицерского корпуса вместо института красных командиров, не разогрето ли это впечатлениями в нем от булгаковского спектакля? Кто знает, о чем думал он, скрываясь за серозеленой занавеской мхатовской ложи, один или с маленькой Светланой на коленях?

Так, в сложных переплетениях и отражениях истории, которую не следует трактовать упрощенно и прямолинейно, предстает этот драматический узел биографии Булгакова.

Булгаков смолоду смотрел на движущуюся историю как на часть биографии, а на свою судьбу как на некую частицу истории. Несмотря на всю его житейскую скромность, у него было сознание своей работы как призвания, долга надежного своей правдой летописца.

Многие знакомцы Булгакова среди современников не представляли себе не только масштаба этого художника, но и объема его невидимой работы.

Правдивую и мужественную попытку изобразить Булгакова в последние его годы, не поправляя поздним рассудком свое восприятие, а как есть, как видела его в ту пору литературная среда, предпринял Евг. Габрилович. Деля с Булгаковым один балкон в писательской надстройке дома на улице Фурманова, он воспринимал его преимущественно по-бытовому, как соседа по лестничной клетке: слышал отзвуки чужой жизни за тонкой стенкой, здоровался при встрече и обменивался репликами о погоде, брал взаймы рюмки и вилки, когда приходили гости. «Вещичкой» назвал Булгаков в разговоре с Габриловичем свой роман «Мастер и Маргарита», видя в собеседнике обычного человека той среды, какую он не жаловал, искренности которой не доверял и которую изобразил в главе «Дело было в Грибоедове» из той самой «вещички». Да и вообще в соприкосновениях своих с людьми Булгаков больше показывался с внешней стороны, как бы тая про себя то главное, ради чего он жил и чем был занят: свою большую прозу.

Драматург, так триумфально начавший, но постепенно получивший в глазах коллег репутацию неудачника, по-своему чертил рисунок своей судьбы в те два десятилетия, что были ему даны для творчества. Рядом с наглядной всем трудной жизнью сценического писателя, обремененного заботами литературного заработка, шла другая, сокровенная жизнь. Он знал, что, работая над «Записками покойника» и, конечно, над своей главной книгой «Мастер и Маргарита», он делает то, к чему воистину призван. Особенность его судьбы заключалась как раз в несовпадении значительности им созданного

с отсутствием отзыва среди читателей, вынужденной немотой.

Вот почему лишь страницы романов самого Булгакова дают возможность представить, как текла не прилюдная, внешнея, а творческая, однокакая жизнь художника. Когда дело касается работы за столом, возникают иные ритмы времени, — стремительно, незаметно летят дни, недели, месяцы.

«Зимою я очень редко видел в оконце чьи-нибудь черные ноги и слышал хруст снега под ними. И в печке у меня вечно пытал огонь! Но внезапно наступила весна, и сквозь мутные стекла увидел я сперва голые, а затем одевающиеся в зелень кусты сирени» («Мастер и Маргарита»). Или: «Я не помню, чем кончился май. Стерся в памяти июнь, но помню июль. Началась необыкновенная жара. Я сидел голый, завернувшись в простыни, и сочинял пьесы... Потом жара упала, стеклянны кувшин, из которого я пил кипяченую воду, опустился, на дне плавала муха. Пошел дождь, настал август» («Театральный роман»). Вот она, скоролетная, незаметная смена сезонов, вот они, ритмы всепоглощающей и не видной миру авторской работы. Самозабвенный, вдохновенный писательский труд как бы не оставляет по себе внешних следов, а рядом неким нейтральным потоком течет всем видимая житейская, бытовая жизнь, наглядная и вспоминающим писателя.

Не всякий даже из близких Булгакову людей мог осознать тогда действительное значение его не знавших печатного тиснения рукописей. Сестра Елены Сергеевны Булгаковой — Ольга Сергеевна Бокшанская переписывала роман «Мастер и Маргарита» на машинке, а мнение машинистки как первого читателя небезразлично для любого автора. Но этот первый читатель великого романа не выразил и тени восторга. «Моя уважаемая переписчица, — писал Булгаков жене 15 июня 1938 года, — очень помогла мне в том, чтобы мое суждение о вещи было самым строгим. На протяжении 327 страниц она улынулась один раз на стр. 245 («Славное море...»). Почему это именно ее насмешило, не знаю. Не уверен в том, что ей удастся разыскать какую-то главную линию в романе, но зато уверен в том, что полное неодобрение этой вещи с ее стороны обеспечено. Что и получило выражение в загадочной фразе: «Этот роман — твое частное дело» (?!). Вероятно, этим она хотела сказать, что она не виновата...»

Какие силы души нужны были в таких обстоятельствах, чтобы не бросить перо? Тем большее значение имели для Булгакова слова поддержки от немногих друзей, слушавших его роман в домашнем чтении, и прежде всего безусловная, не знающая сомнений и нескучеющая вера в его талант, в великое будущее его книг у самого близкого ему человека — Елены Сергеевны.

Одна из коренных мыслей романа «Мастер и Маргарита» — мысль о справедливости, которая неизбежно торжествует в жизни духа, хотя иной раз и с опозданием, и уже за чертой физической смерти творца.

«Чтобы знали... Чтобы знали! — прошептал уже на смертном одре Булгаков наклонившейся над ним Елене Сергеевне, думая о судьбе своих ненапечатанных книг.

За годы, прошедшие с того дня, как небольшая толпа литераторов и артистов провожала урну с прахом Булгакова на Новодевичье кладбище, он стал стремительно приближаться к нам. Было его одиночество обернулось огромным вниманием к нему множества людей в нашей стране и во всем мире.

В раскаленном состоянии ярко светят и уголь, и металл. Но уголь, перегорев, рассыпается в серый пепел, металл же отвердевает, принимая упругую и прочную форму. Так на глазах нашего поколения затвердела и укоренилась в Большом Времени слава Михаила Булгакова. Он дорог людям как писатель и интересен как человек, воплотивший в своей судьбе, противившейся его дару, достоинство и мужество художника.

# БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА

Дорогие друзья! Под таким девизом проходит наш традиционный конкурс одного стихотворения. Напоминаем условия конкурса: в нем могут принять участие все, кто пишет стихи (кроме членов Союза писателей СССР). Необходимо указывать профессию, имя, отчество, фамилию, возраст, домашний адрес. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Итоги конкурса подводятся в конце года, победители награждаются дипломами и премиями «Смены». Но самой приятной, мы надеемся, наградой победителям станет публикация подборок их стихов.

Желаем успехов! Ждем ваших писем.

**Юрий ЯХОНТОВ,**

горный инженер, Москва

## ШАХТА

Шахта, шахта — это так непросто,  
Внутрь земли стремительный полет.  
Клеть — подобье временного моста  
К древним эрам, в давность унесет.  
Пласт угля — земное напряжение,  
Эта мощь сдавила древесу.  
И влекут мое воображение  
Древней тайной древние леса.  
Я иду в давно ушедшем веке,  
Воздух влагой капает со стен.  
Каской задеваю кровлю — в штреке  
Далеко не метрополитен.  
Но высоких потолков не надо,  
Здесь у нас иная высота.  
Сокрушая времени преграду,  
Вырываем уголь из пласта.  
Мы привычной заняты работой,  
Но откроешь в удивлены рот,  
Как кусок угля далекой почты  
Отпечаток жизни привнесет.

**Сергей ЖИЛЕНСКИЙ,**

токарь, Мелитополь

## БАБУШКА

Я убеждал ее:  
— Земля кругла!  
Я рисовал ей шар и так, и так.  
Она твердила: — Нет, на трех китах  
Стоит и будет. И вовек была.  
Я говорил ей, что земля — арбуз  
Большой-большой...  
Морщинки разбегались,  
И бабушка лукаво усмехалась:  
— Она же горька и солона на вкус.  
Я толковал про космос и прогресс,  
Я пояснял суть смены дня и ночи.  
Она вздыхала: — Интересно... Очень...  
Но три кита, как были, так и есть!  
— Ну как, скажите, бабушка, киты  
Удержат шар? Хоть тысяча китов!  
Что за киты? — Да успокойся ты.  
А первый кит, скажу тебе, — любовь.  
— Ну, а второй? Еще земля на ком  
Стоит? Я слушать, бабушка, готов.  
— А со вторым ты тоже незнаком.  
Второй зовется коротко — любовь.  
А третий кит... — Я знаю ваш ответ!  
И третий кит, конечно же, — любовь!  
— Ты ничего не можешь знать,  
мой свет,  
Но третий кит воистину — любовь.

**Сергей ВЕСЕЛОВ,**

электромонтер, Воронеж

Туман окутал рыхкий лес,  
и луг задумчивый, и поле.  
Туман собою все наполнил  
от озера и до небес.  
И вот не угадать полян,  
хотя и пахнет свежий хвойей...  
Но будет мир прекрасней вдвое,  
когда рассеется туман.

**Елена ЕРМАК,**

учительница, Псков

## ЭТЮД

Ахматовская мокрая сирень  
В тени колонн Казанского собора  
Неистово цветет...  
Как жаль, что скоро  
Сойдет на нет лиловая кипень!  
В кустах сирени — яблонька одна.  
Дикарка. Самозванка из огрызка.  
К решетке темной подбежала близко,  
Касается витого чугуна.  
Узором воронихинской решетки,  
Где линии изысканны и четки,  
Залюбовалась, чуткая, она.  
Сама же — воплощенная весна,  
Вся в белом, облита пчелиным гудом,  
Цветам чугунным показалась чудом.

**Светлана ФЕТИСОВА,**

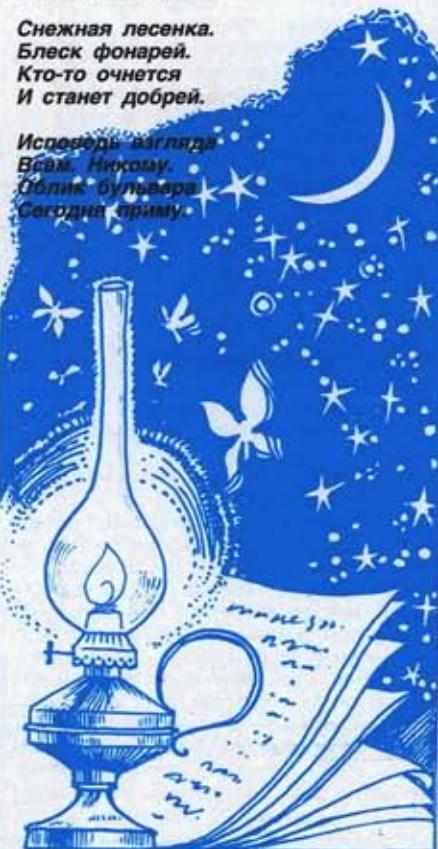
медицинский работник, Москва

## АРБАТ. ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР

Памятник Гоголю.  
Рядышком львы.  
Вздохом потрогаю  
Жесткие лбы.

Что они помнят?  
О чем-то молчат.  
Хищные лапы  
В раздумье лежат.  
  
Снежная лесенка.  
Блеск фонарей.  
Кто-то очнется  
И станет добрей.

Исповедь взгляда  
Влад. Никому.  
Однок. бульвара  
Сегодня приму.



**Дмитрий ЛЕОНОВ,**

учащийся, Белгород-Днестровский

## КОСТЕР В ЛЕСУ

А завтра утром выпадет роса...  
Подбросим дров — огонь согреет  
душу.

И до заката целых полчаса  
Мы в полуслне треск сучьев будем  
слушать.

О, одиночество! Неведомая даль,  
Плыют туманы  
в тягостном забвеньи,  
За горизонтом тихая печаль  
По облакам скользит  
бесшумной тенью.

Затихли у потухшего костра  
Сосна и ель, устав от непогоды.  
И завтра будем так же, как вчера,  
Встречать лучи прозрачного восхода.

Пусть одиночество навеивает грусть.  
Костер погас и оседает пеплом.  
Сгущилась тьма, ну что же,  
ну и пусть,  
Лишь только б искры в сердце  
не поблекли.

**Бажен ПЕТУХОВ,**

учащийся, Ростов-на-Дону

## ВСТРЕЧА

Пруток резал воздух звонко,  
Туман был спел и глуховат.  
«Ты НЕХОРОШАЯ ДЕВЧОНКА,  
И В ЭТОМ Я НЕ ВИНОВАТ...»

И в сотнях луж она вертелась,  
Покрыта инеем огней,  
А мне — мне все-таки хотелось  
Быть виноватым перед ней.

И, удивляясь этой встрече,  
Пушистым искристым котом  
У ног ее ложился вечер,  
Играя палевым хвостом.

**Ирина САВОСИНА,**

школьница, Обнинск

## НОЧНОЙ НАТЮРМОРТ

Луны кусочек водянистый в кружке,  
А небо — как мерцающее дно...  
И две звезды,  
любимые подружки,  
Заглядывают по ночам

в окно.

**Игорь КРУЧИК,**

электромонтер, Киев

## УТРО НА ДЕСНЕ

Дно лодки — в масляной росе.  
Коровий брод изъела оспа.  
Парнишка на речной косе  
Шлифует стекла телескопа.

Из млечных сумерек села  
Уходят в путь молоковозы.  
Река — шершавое стекло,  
А в глубине ериши и звезды.

ЧИТАЙТЕ  
В БЛИЖАЙШИХ  
НОМЕРАХ:



Фоторепортаж с XIX  
партийной  
конференции.

«А если невиновен...»  
Судебный очерк.

«Забытый поэт».  
Рассказ  
Владимира Набокова.



Еще раз  
о пожаре в Осаке.

Андрей  
Молчанов.  
«Кто ответит?»  
Остросюжетная  
повесть.

Теннисист  
Андрей Чесноков:  
«Я — профессионал!»

Уважаемые товарищи!  
В течение года  
вы можете выписать  
журнал  
в любом почтовом  
отделении,  
в агентстве  
«Союзпечати»  
до 1-го числа  
предподписного месяца.  
В розницу «Смена»  
поступает  
в ограниченном  
количестве.

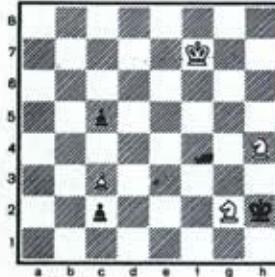


30-я шахматная олимпиада  
Под редакцией гроссмейстера Виктора Чепижного

Завершается наша шахматная олимпиада. В последнем туре ее участникам предстоит ответить на три задания. Решения этих заданий просим присыпать на отдельных открытках. Там же следует указать фамилию, имя и отчество, профессию, разряд по шахматам и домашний адрес.

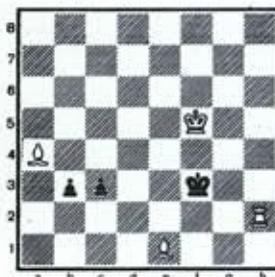
#### ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТУР

I



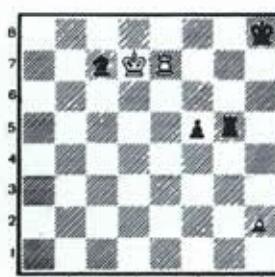
Белые: Kpf7, Kg2, Kh4, п. с3 (4)  
Черные: Kph2, пл. с2, с5 (3)  
**Ничья (3 балла)**

II



Белые: Kpf5, Lh2, Ca4, Ce1 (4)  
Черные: Kpf3, пл. b3, с3 (3)  
**Мат в 5 ходов (4 балла)**

III

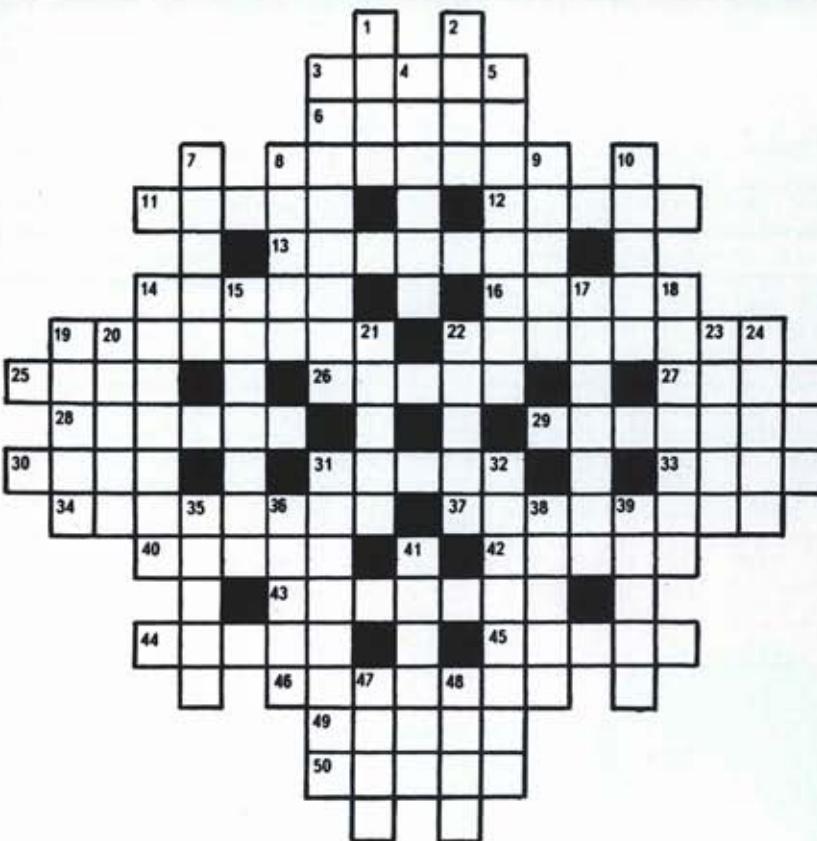


Белые: Kpd7, Le7, пл. h2 (3)  
Черные: Kph8, Lg5, Kc7, пл. f5 (4)  
**Ничья (4 балла)**

**Ответы на задания прсылайте только на открытиях (без конвертов!) с пометкой «30-я шахматная олимпиада. 14-й тур». Последний срок отправки ответов (по почтовому штемпелю) — 1 октября. Ответы, посланные позднее этого срока, рассматриваются не будут.**

## КРОССВОРД

Составил И. Нохрин. Хабаровск



#### ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

3. Немецкий астроном, обнаруживший планету Нептун по вычислениям У. Леверье. 6. Круглое здание для исполнения музыки, впервые построенное Периклом. 8. «О героическом энтузиазме» Д. Бруно (тип сочинения). 11. Идейный вождь французских энциклопедистов. 12. Самый «дорогой» предмет для искателя кладов. 13. Ученый, чья задача — установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению» (Б. Пастернак, «Доктор Живаго»). 14. Музикальный инструмент, который во времена И.-С. Баха называли «охотничим» гобоем. 16. Командир казачьей сотни. 19. Русский адмирал, победивший в Чесменском бою. 22. Передовой отряд. 25. Каждый из объектов в цикле «пахнувших сеном» картин Клода Моне. 26. Итальянский художник и архитектор эпохи барокко. 27. Север. 28. Лаг — лак (каждое слово по отношению к другому).

29. Металл, восемь тонн которого Амур ежегодно выбрасывает в Татарский пролив. 30. Орех, стручок, ягода (общее название). 31. Сумка первоклассника. 33. Диктор Центрального телевидения. 34. Компонент моторного топлива. 37. Домовой, от которого в старину ради охраны кур над насестом вешали на лыже горло разбитого кувшина. 40. Еще тот и не родился, кто бы бабий... узнал (русская пословица в собрании В. Даля). 42. Диалог Платона, где впервые упомянута загадочная Атлантида. 43. Английский драматург, учениками которого в известном смысле были О. Уайльд и Б. Шоу. 44. «Нет у нас двода более веского, чем ..., ломящийся от хлебных груд» (В. Малковский, «Праздник урожая»). 45. Еда по строгому выбору. 46. Соленое озеро в Кокчетавской области. 49. Откорм скота на пастбище. 50. Важнейший материал лак (каждое слово по отношению к другому).

#### ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Чешский художник, нарисовавший 540 иллюстраций к роману Я. Гашека о Швейке. 2. Важнейшее военное детище Петра Первого. 3. Судьба человека, которую астролог мог прочитать по звездам в день его рождения. 4. Распространенное прежде название чтеца. 5. Город в Донецкой области. 7. Излюбленный музикальный строй древних греков. 8. Электронная лампа. 9. Материальная родственница английских терроров. 10. «Песенное» волхвское судно. 14. Провансальский танец, название которого происходит, по мнению Руссо, от имени его создателя. 15. Город на Украине, в освобождении которого от белополяков летом 1920 года участвовал Павел Корчагин. 17. Бюрократ — новатор, дорого — дешево — свет — тьма (слово в каждой паре по отношению к другому). 18. Актёр, сыгравший роль Алексея Бронского в фильме «Анна Каренина». 19. Башня, колонна. 20. Представитель прибрежного населения Архангельской области, где белого медведя до сих пор называют ушкуем. 21. Серо — обруч, бадминтон — ... 22. Представитель народа, среди вождей которого был Монтесума. 23. Вихрь векторного поля в математике. 24. Материал, которого тем больше, чем дальше в лес. 31. Изысканный поклон. 32. В Европе — ..., в России — кремль. 35. «Божественная комедия» Данте (жанр). 36. Обычный в Китае рабочий скот. 38. Представитель греческой школы философии, ставшей источником стоицизма. 39. Стихотворение Г. Державина, сильно поправленное его другом Н. Львовым. Автор принял ряд поправок. 41. Южное — название желтой акции. 47. Доспехи, предшествовавшие кирасе. 48. Французский художник-столяр, создавший свой стиль мебели.

#### ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 14

##### По горизонтали:

1. Хоцю. 6. Офис. 9. Импрессионист. 12. Явка. 14. Тоня. 16. ...кол... 17. Радиомаяк. 18. Рен. 21. Жерех. 25. Орган. 26. Керосин. 28. ...бархат... 29. Донжон. 30. Муравей. 31. Лакшин. 32. Лорнет. 33. Никитин. 34. Устье. 35. Яцков. 40. Акт. 42. Хостовул. 43. Пта. 45. Раич. 47. Ильм. 48. Гидроакустика. 49. Морж. 50. Стон.

##### По вертикали:

1. Хряк. 2. Цикл. 3. Юма. 4. Эскиз. 5. Бирма. 6. Ост. 7. Фтор. 8. Саян. 10. Рвач. 11. Наны. 13. Волейболистка. 15. Немагнитность. 19. Верроккьо. 20. Труженица. 22. Петунья. 23. Ботаник. 24. «Фиделио». 26. Камин. 27. Ноин. 36. Бобр. 37. Штраф. 38. Енух. 39. Дзэт. 40. Арут. 41. Тигр. 43. Плат. 44. Амон. 46. Чиж. 47. Икс.



Пролетарии  
всех стран,  
свядиняйтесь!

# СМЕНА / 88

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года.  
Выходит два раза в месяц.

**№ 15 (1469) АВГУСТ**

Москва, издательство «Правда»

Главный редактор  
Михаил КИЗИЛОВ

Редколлегия:

Сергей БАБКИН

(заместитель главного редактора)

Борис ДАНОЮШЕВСКИЙ

(заместитель главного редактора)

Александр КУЛЕШОВ

Андрей КУЧЕРОВ

Альберт ЛИХАНОВ

Иосиф ОРДЖОНИКИДЗЕ

Сергей ПОПОВ

(ответственный секретарь)

Юрий РАГОЗИН

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Евгений РЯБЧИКОВ

Вадим САЮШЕВ

Виталий СЕВАСТЬЯНОВ

Владислав СЕРИКОВ

Виталий ФЕДОРОВ

(главный художник)

Художник  
Александр КЛИЩЕНКО  
Технический редактор  
Марина БАЙКОВА



101457, ГСП, Москва,  
Бумажный проезд, 14



212-18-07 — для справок. Отделы:  
212-21-59 — рабочей молодежи и науки  
212-21-38 — коммунистического воспитания.  
212-23-79 — фотоочерка.  
212-21-38 — военно-спортивный.  
251-32-84 — международной жизни.  
251-04-10 — литературы и искусства.  
212-11-27 — писем и массовой работы.

Рукописи, фото и рисунки  
не возвращаются.

Рукописи объемом  
более одного авторского листа  
(24 машинописные страницы)  
редакцией не рассматриваются.

«Издательство «Правда»,  
«Смена», 1988 г.

Сдано в набор 20.06.88.  
Подписано к печати 04.07.88.  
А 11757. Формат 70 × 108<sup>1/4</sup>.  
Глубокая печать. Усл. печ. л. 5.60.  
Уч.-изд. л. 11.55. Усл. кр.-отт. 21.7.  
Тираж 2 025 000 экз.  
Заказ № 2658.  
Ордена Ленина  
и ордена Октябрьской Революции  
типолитография имени В. И. Ленина  
издательства ЦК КПСС «Правда».  
125865, ГСП, Москва, А-137,  
улица «Правды», 24.

## Евгений ФЕДОРОВ

Сколько сейчас на эстраде и вне ее авторов-исполнителей? Имя им — легион. А сколько из них пользуется успехом у слушателей? Единицы...

Очень и очень немногие умеют заключать свои чувства и мысли в неистертыне оболочки музыкальных фраз и слов, так, чтобы они резонировали в душе слушателя. Для этого одного профессионализма недостаточно — нужен талант. Талант поэта.

Один из наиболее интересных представителей этого направления — Юрий Лоза. Кассеты с его записями звучат повсюду — вплоть до Центрального телевидения. Но что примечательно: его творчество одними отвергается полностью, другими — возводится на пьедестал популярности.

Песни Юрия доступны и конкретны. В них не нужно разгадывать загадочных шарад из метафор и символов. Герой песен Лозы — парень из толпы. Самый обыкновенный, тот, с кем на «ты». Он прост, хотя многие считают, что чрезмерно. Он смеется, любит, ненавидит, иронизирует. Он... живет.

Надо сказать, этот образ не случаен. Лоза пронес его через всю свою восемнадцатилетнюю музыкальную карьеру, которая началась в Алмате, где юный любитель рок-н-ролла решал вопрос, кем быть: футболистом или музыкантом. Решил, что будет музыкантом, и поступил в музыкальное училище на курс духовых и ударных инструментов... Но вскоре бросил, убедившись, что это не учеба, а профанация. Работал в группах «Интеграл» и «Зодчие». Но... Эстрадный артист филармонии все равно, что моряк дальнего плавания, — месяцами на гастролях. А дома — жена, ребенок. Да и време-

ни не остается на то, чтобы поработать в студии звукозаписи, заняться серьезно сочинительством.

Тем не менее Юрий записал несколько магнитофонных альбомов, из которых наибольшим успехом пользуются «Тоска» и «Любовь». Песни из этих циклов легли в основу первого диска-гиганта Лозы, который выпускает фирма «Мелодия». Сейчас музыкант работает над следующим циклом — «Дорога».

Последние полгода он выступает один. Благо, предложений — сотни. Сейчас даже концертные организации, «приученные долгими годами застоя считать чужие деньги, начали считать свои...» Но Лоза принципиально не желает «кормить огромный аппарат чиновников от эстрады». Он говорит: работать лучше, когда знаешь, что деньги от концерта пойдут на реальные дела — строительство дорог, клубов, кинотеатров, в детские дома...

Меньше всего он стремится к дешевой популярности и больше всего не любит фанатов, которые во время концертов кричат: «Юрик, давай!» Это его не радует, а огорчает... Огорчает музыканта еще и тот прискорбный факт, что нет возможности приобрести хорошую аппаратуру, нет возможности работать с зарубежными артистами. И еще то, что мать до сих пор с беспокойством спрашивает: «Юра, ну когда же ты настоящим делом займешься?..»

Конечно, он мог бы стать кем-нибудь другим, но... «Но уж так я устроен, так придуман и скроен...» — поет о себе Юрий. Желание работать на эстраде и вера в успех своего творчества с годами у него только усиливаются. А это значит, что дорога, по которой идет Юрий Лоза, выбрана верно. Дорога, ведущая к сердцам слушателей...

Фото Валерия ПЛОТНИКОВА

# ЛОЗА

